

**Н.П.МАШКИН**

ЦАРЬ-  
КОЛОКОЛ, ИЛИ  
АНТИХРИСТ  
XVII ВЕКА

История в романах

Н. П. Машкин

**Царь-колокол, или  
Антихрист XVII века**

«Public Domain»

1892

УДК 821.161.1Р  
ББК 84(2Рос=Рус)

**Машкин Н. П.**

Царь-колокол, или Антихрист XVII века / Н. П. Машкин —  
«Public Domain», 1892 — (История в романах)

ISBN 978-5-486-03347-6

Н. П. Машкин – русский писатель конца XIX в., один из целой когорты исторических романистов, чьи произведения снискали славу отечественной беллетристики. Имя этого литератора, ныне незаслуженно забытого, стоит в одном ряду с его блестящими современниками, такими как В. П. Авенариус, М. Н. Волконский, А. И. Красницкий, Д. Л. Мордовцев, Н. Э. Гейнце и др. Действие романа «Царь-колокол, или Антихрист XVII века», впервые опубликованного в 1892 г., происходит в середине XVII в. при царствовании Алексея Михайловича, во времена раскола Русской православной церкви. В центре событий романа, наряду с личностями патриарха Никона, неистового раскольника Аввакума и Степана Разина, автор с большим мастерством представил образы простых русских людей, строивших Москву и приумноживших славу Русской земли.

УДК 821.161.1Р  
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-486-03347-6

© Машкин Н. П., 1892  
© Public Domain, 1892

## Содержание

Часть первая	6
Глава первая	6
Глава вторая	12
Глава третья	19
Глава четвертая	25
Глава пятая	33
Глава шестая	38
Часть вторая	43
Глава первая	43
Конец ознакомительного фрагмента.	44

**Н. П. Машкин**

**Царь-колокол, или Антихрист XVII века**

© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2010

© ООО «РИЦ Литература», 2010

## Часть первая

*Бога для, братья и господа мои,  
не зазрите худоумью моему  
и грубости моей.  
Да не будет в похваленье написанье  
меня ради...*

*Хождение Данила, Русской земли Игумена*

## Глава первая

Тяжко страдало во времена междоусобия любезное русским отечество, угнетенное самозванцами, нашествием чужеземцев и боярскими смутами. Нужен был мудрый кормчий, чтобы государство, погибавшее в волнах безначалия, как корабль в бурном море, вошло в безопасную гавань и уврачевало свои раны. Таким кормчим избрало Провидение и глас народа Михаила Федоровича Романова. Он защитил Россию от набегов иноплеменных, смирил боярские распри и восстановил гражданский порядок. Мудрый преемник его, Алексей Михайлович, следуя во всем по стопам своего родителя, еще более скрепил узел благоденствия нашего отечества.

В его царствование селившиеся в Москве во множестве иностранцы теснее сблизили русских с Европою, и россияне начали мало-помалу, незаметно для самих себя, не только заимствовать от иноземцев просвещение, но и перенимать самые обычаи. Во второй половине царствования Алексея Михайловича Россия, огражденная извне, уврачеванная внутри, наслаждалась бы полным спокойствием, если бы не тревожили еще ее война с Польшей, раскол, явившийся в нашей церкви и вслед за тем неудовольствия, возникшие между боярами и патриархом Никоном, вследствие которых последний вынужден был удалиться от своей паствы во вновь построенный им Воскресенский монастырь.

Москва, стольный град царства русского, принимавшая на себя всегда, как нежная мать, раны, наносимые отечеству, и вытерпевшая столько осад, пожаров и разрушений, отдыхала в эту эпоху от прежних тревожений, заселялась, ширилась, украшалась множеством зданий и церквей. Она не была уже, как прежде, частичкой Суздальского княжества, не дробилась на трети, не делилась своей знаменитостью с городами Владимиром и Киевом, а Великий Новгород не заглушал славы ее своим вечевым колоколом, и всякий видел тогда, что это был уже стольный град огромного царства русского! Сорок сороков златоверхих церквей московских были всегда полны народом; «купецкие» ряды и рынки завалены товарами, привезенными из всех стран света; по улицам скакали, с утра до вечера, царские гонцы; тянулись величественные процессии; стройно проходили стрелецкие полки...

1665 года, мая в восьмой день, с раннего утра Красная площадь и примыкавшие к ней улицы Ильинская и Тверская, вплоть до Тверских ворот, залиты были народом, который едва могли сдерживать стрельцы, расставленные по обеим сторонам улиц и наблюдавшие, чтобы середина их оставалась свободною для проезда гонцов и царских сановников. Толпы сжимались теснее по мере приближения к посольскому дому, величественно возвышавшемуся над прочими смежными зданиями. Чтобы судить о значительности этого дома, нужно знать, что он был каменный, а это в эпоху, когда начинается настоящий рассказ, считалось делом большой важности. Посольский дом этот был не более как обширное двухэтажное здание с маленькими, узкими окнами, с крутой крышей и просторной деревянной светлицей, возвышавшейся над его серединой, без всякой, впрочем, затейливости. Единственным наружным украшением

дома были два огромных крыльца из белого камня, с навесами, поддерживаемыми фигурными столбами. Впрочем, и этими украшениями нельзя было любоваться постоянно, так как оба крыльца выходили на двор, а ворота посольского дома были почти всегда заперты, по крайней мере смотреть за этим составляло обязанность особой стражи. В настоящее время ворота эти были отворены настежь, и любопытные зрители могли видеть не только крыльца, но и множество всадников в богатых одеяниях, наполнявших двор и окружавших великолепную колесницу с балдахином, украшенным страусовыми перьями, заложенную шестернею белых лошадей в вызолоченной сбруе.

– Экая теснота, народу словно пчел в улье набралось, – сказал, отдуваясь и побрякивая, видный собою купец суконной сотни Иван Степаныч Козлов, вырвавшись из толпы на более просторное место и обтирая полою охабня лицо, увлажненное обильными каплями пота. – Федор Трофимыч, здравия и благоденствия желаю, – продолжал он, обращаясь к стоявшему невдалеке худощавому человеку в запачканном однорядке. – Вот уж подлинно справедливо говорит пословица: «Гора с горой не сходится, а человек с человеком сойдется!» Давно я тебя не видал, родимый.

Худощавый человек, к которому относились слова Козлова, не мог похвалиться, чтобы природа щедро одарила его наружною красотой: желтое от рождения лицо его, несмотря на нестарые лета, было покрыто множеством мелких морщин, что придавало ему сходство с высохшим спелым огурцом, оставленным для семян дозревать на солнце; а огромное количество веснушек, рассеянное по этим морщинам, поставило бы в тупик любого школяра заиконспасской академии, если бы заставили его сделать им хотя приблизительный счет. Серые зрачки глаз этого господина, беспрестанно перебегавшие во все стороны, выражали чрезвычайную хитрость, несмотря на привычку поминутно шурить глаза, вероятно с намерением, чтобы посторонний не мог прочесть в них никакого выражения. Наконец, рыжие всклокоченные волосы на голове и жиденькой бородке довершали его безобразие. Это был дьяк Федор Трофимыч Курицын. Услышав голос Козлова, он, вероятно, изъявил намерение улыбнуться, потому что рот его с тонкими посинелыми губами, имевший обыкновенно форму зачипанного пирога, растянулся при этом почти вплоть до ушей и, таким образом, открыл два ряда искривленных зубов болотного цвета...

– А, и ты, Иван Степаныч, пожаловал сюда, – отвечал дьяк, обращаясь к Козлову.

– Как же, родимый, не без того. Да уж, правду сказать, насилие добрался, до сих пор еще локтей распрямить не могу. Что, кормилец, здесь за невидаль такая, и к чему народ бежит со всех концов Москвы, словно на пожар? Уж не ведут ли пленных из Польского царства?

– Каких пленных. Сегодня выезжает из этого дома Яков Борель, «Посол от высокопочтенных господ штатов генерал, славных, единовладевательствующих вольных соединенных Нидерландов», кажись, так он был назван в отпускной грамоте от царя. А приезжал сюда Борель вот, видишь ли, зачем...

– Э, знаю. Сказывал мне батька, что он хлопотал в большой думе, чтобы она позволила их голландским купцам торговать в Москве всеми товарами, а наш брат, купец суконной сотни, чтобы в ряды и глаз не показывал. Еще говорила братия, что поганым голландцам хотелось выстроить в Кремле еретическую их церковь, а Успенский и Архангельский соборы срыть до основания. Да нет, не удалось чернокнижникам! Наш великий государь хоть и во многом золит немцам, а на это не хотел дать своего царского слова. Они, окаянные, думали, ехавши сюда, что им поможет патриарх Никон, который впал в их еретичество, а того не знали, что ему самому туго приходится: недаром послал он из своего Воскресенского монастыря грамоту к цареградскому патриарху Дионисию...

– Что ты, какую грамоту? Отойдем-ка, Иван Степаныч, немножко в сторону, вот хоть в тот переулок, а то здесь больно людно, нельзя ничего расслышать. Ну так про какую ты грамоту начал говорить? – спросил Курицын, когда они отделились несколько от толпы.

– Эх, Федор Трофимыч, – сказал Козлов с замешательством, оглядываясь кругом, – начал я тебе рассказывать, да и не рад: дело-то это больно тайное! Ну да тебя я давно знаю, ты ведь у нас из избы сору не вынесешь. Только все бы мне надобно быть повоздержаннее, а то наткнешься на другого ненароком, да как примут к допросу: от кого-де узнал, так тут и не развяжешься? И то мне раз батька при всей братии наказывал, чтобы я придерживал язык, а то-де доведешь, говорит, и себя и нас до плахи. Ну так вот, видишь ли, Никон-то думал все, что царь помирится с ним, а теперь, как проведал, что зовут в Москву вселенских святителей судить его, так он и вздумал послать к цареградскому патриарху Дионисию грамоту, в которой просят, чтобы тот заступился за него пред Алексеем Михайловичем, зная, что царь питает к Дионисию большое уважение. Да ведь уж теперь Никону ничего не поможет: видно пришла волку и волчья смерть! Батька говорит, что не позволят довести грамоту Никона в Царьград.

– Экие чудеса делаются на свете, – сказал с удивлением дьяк, покачав головою и смотря своими рысьими глазами прямо в лицо Козлову. – Подумаешь, как тебя наградил Господь Бог талантом красно рассказывать: слушаешь тебя, так словно медовая сыта в сердце льется! Только вот что, Иван Степаныч, – прибавил он, будто в размышлении, – о каких это братьях и батьке ты все говоришь? Я что-то в толк не возьму?..

– Эка, проклятый язык у меня! – вскричал Козлов, всплеснув руками. – Ничего-таки не удержится! Уж когда-нибудь доведу себя до петли. Ладно, что еще тебе проболтался, а то, чего доброго, – прошептал он взглянув исподлобья на стороны, – подслушал бы какой-нибудь дьяк из Тайного приказа, тогда и поминай, как звали, замучили бы на пытке.

– И впрямь бы тебе, Иван Степаныч, об своей родне-то не говорить встречному и поперечному. Что греха таить перед тобой: ведь я сам теперь служу дьяком в Тайном-то приказе.

Если б удар грома разразился вдруг возле Козлова, он бы испугался менее, нежели услышав эти ужасные слова. Он побледнел как полотно и затрясся всем телом.

– Батюшка, не погуби! – вскричал купец, упав в ноги Курицыну. – Заставь за себя Богу молиться.

– Добро, добро, встань, Иван Степаныч, лежачего не бьют, а виноватого и Бог простит, – сказал с хитрой улыбкой Курицын. – Мы с тобой сызмала знакомы, так для тебя можно и покривить душой; только в другой-то раз ты держи язык за зубами. Нынче, брат, других слушай, а сам смалчивай. Вот хоть бы, к примеру сказать, попался бы мне теперь вместо тебя кто-нибудь другой? Как попробовал бы его в застенке Тайного приказа горячими клещами поразглядить, либо за ногти иголки загнать, али суставцы повыправить, так хоть бы отродясь немой был, разговорился бы, словно на пиру веселом. Да ты что дрожишь, Иван Степаныч?

– Та-ак, батюшка, что-то прозяб, кажись, – отвечал, заикаясь, Козлов, с которого пот катился градом.

– Экая беда! Опять прореха, а однорядок, почитай, совсем новый, – сказал как будто про себя Курицын, рассматривая рукав своей поношенной одежды, и потом, обращаясь к купцу, спросил: – А что, Иван Степаныч, ты по-прежнему тонкими сукнами торгуешь? Чай, и английские водятся?

– Как же, родимый, – отвечал Козлов, поняв, о чем шла речь, – есть и английские. Остался у меня один кусок кармазинного цвета, ну хоть сейчас на боярскую ферязь! Коли позволишь принять, так челом тебе бью им, батюшка!

– Спасибо, спасибо, Иван Степаныч, я всегда считал тебя за доброго человека; только язычок-то у тебя больно того, слабенок. А что ты по-старому живешь в своем доме здесь, в Китай-городе?

– Там же, кормилец. Да я, если прикажешь, сам занесу тебе поминок-то мой, на дом...

– Ладно, ладно. Вот и видно, что старый друг, а такой друг лучше новых двух, говорит пословица. Ну, прощай, Иван Степаныч. Порастабарил бы с тобой, да дел больно много. Вот и теперь, видишь ли, там, на углу улицы, разговаривают два немца-нехрестя и о чем-то ухмыля-

ются: смешно, видно, больно показалось. Одного из них, что повыше, я знаю: он служит аптекарем в царской аптеке и прозывается Иоганном Пфейфером; а другого, кажись, не видывал. Пройти мимо них да прислушаться, будто ненароком: авось что-нибудь путное набежит.

И Курицын, распрощавшись с Иваном Степанычем, пошел кошачьей поступью к немцам, а полумертвый от страха Козлов, едва только оставил его дьяк, бросился опрометью бежать по переулку.

В некотором отдалении от толпы стояли два иностранца, оба приятной наружности. Один из них высокого роста, лет двадцати трех, был особенно хорош собою. В больших голубых глазах его выражалась какая-то необыкновенная привлекательность, а маленькие усики и густые темно-русые волосы, выбегая пышными кудрями из-под черного бархатного берета, придавали еще больше приятности лицу иноземца. Коротенькая цветная епанча, накинутая на одно плечо, ловко драпировалась над атласным полукафтанием, спускавшимся до колена и стянутым кожаным поясом. Другой молодой человек, пониже своего товарища, был смуглее его лицом, но правильность лица и какая-то задумчивость, выражавшаяся во всех чертах, располагали в его пользу. Они громко говорили по-голландски, не обращая внимания на подкравшегося к ним Курицына, который, послушав их несколько минут, плюнул с досадой и пошел дальше, ворочав сквозь зубы:

– Уж и видно, что нехристь поганая: прах их знает, по-каковски говорят! Чай и сами друг друга не понимают, а только вот так, будем-де язык ломать, назло православным христианам.

– Обнимемся еще раз, любезный Брандт, – сказал по-голландски мужчина, сжимая своего товарища в объятиях. – Мог ли я предполагать, – продолжал он, что увижусь когда-нибудь с тобою здесь, в холодной Московии, чуть не на краю света. Смотрю на тебя и не верю своим глазам: как? ты, лучший корабельный мастер амстердамской верфи, с малолетства занимавшийся постройкою кораблей, хлопотавший только о планах и моделях их, бросаешь вдруг свои любимые занятия и являешься сюда, передо мной, как выходец с того света! Сужу, по крайней мере, так по тому, что вижу тебя здесь, в московитском государстве, где не только не умеют строить кораблей, но и не имеют в них надобности, довольствуясь своими дрянными судами и барками...

– Правда, – отвечал Брандт, – что жители Московии не научились еще строить кораблей, но из этого не следует, чтобы они не нужны были для них, и в доказательство того ты видишь меня перед собою.

– Как! – вскричал с удивлением Пфейфер. – Так поэтому ты не бросил своего корабельного мастерства.

– Напротив, – отвечал его товарищ, – пристрастился к нему более, нежели когда-нибудь, и приехал сюда затем, чтобы учить ему других. Нынешний московитский государь понял очень хорошо, сколько теряет такое могущественное государство, как его, не имея морской силы; и вот я призван сюда, чтобы положить ей основание. Русские переимчивы и упорны в достижении своих целей. Почему знать, может быть, первый построенный мною бот будет дедушкой русского флота! Меня звали сюда не для мелких судов: правительство здешнее требует, чтобы я построил корабль, которому уже дано имя. Первенец мой будет называться «Орлом»...

– Желаю, от души желаю тебе успеха, хотя признаюсь, не поверил бы, если бы не видел своими глазами, чтобы ты мог оставить когда-нибудь наше прекрасное отечество! Каким образом тебя отпустили мать, сестра?

– Мать моя умерла вскоре после твоего отъезда, – отвечал Брандт с тяжелым вздохом, – а сестра переехала на житье к дяде в Саардам.

Оставшись один как перст в Амстердаме и получив приглашение от русского посла ехать в Московию, я мигом собрался в дорогу. Русские, сколько я успел с ними познакомиться, народ добрый и принимают с охотою нас, иностранцев. У них много серебряных рублей, а у нас

умения и искусства: что же, поменяемся тем и другим и разойдемся. Тогда Бог даст, и у моей сестры Маргариты будет хорошее приданое!

– Правда, – сказал Пфейфер, – русские охотно принимают к себе иностранцев, полезных для них своими знаниями, но зато нужно иметь лукавство самого демона, чтобы получить позволение выехать из московитского государства и возвратиться в отечество. Иностранцев, которые им не понравятся, они попросту выпроводят сейчас же из Московии; но кто из нас успеет оказать услугу, тот приобретает здесь все: богатство, уважение... но теряет свободу. За то и нужно быть хамелеоном, чтобы уметь держать себя, потому что подозрительность русских к иностранцам превосходит всякие границы. Я расскажу тебе, кстати, анекдот, случившийся здесь с врачом Стефаном фон Гаденом, из которого ты увидишь, до чего простирается их недоверчивость. В числе пленных, привезенных из Польши, был здесь польский генерал Гоэиевский, который, сделавшись больным, просил, чтобы ему прислали медика. Фон Гаден явился и, расспросив о болезни, велел ему принимать известное медицинское средство – кремортартар. Офицер, стерегший генерала, услышав название лекарства, повторенное несколько раз, вообразил, что между врачом и пленником идет речь о крымских татарах, с которыми тогда воевали русские, и донес о том боярину Милославскому, управлявшему аптекарским приказом. Фон Гадена немедленно засадили в Тайный приказ и приступили к допросу, и хотя несчастный успел как-то доказать, что говорил только о лекарстве, а не о враге московитов, но тем не менее остался с того времени под всегдашним присмотром здешней полиции.

– Анекдот этот довольно забавен, – отвечал Брандт, – но доказывает только одно, что всем иностранцам нужно вести себя здесь осторожно, чтобы не возбуждать подозрения русских...

– Да в том-то и дело, – прервал Пфейфер, – что они не отличают иностранцев одного от другого и называют всех одним общим именем: немец. Я сам, при всей моей осторожности, был замешан, вскоре по приезде, в нескольких историях, подобных рассказанному мною анекдоту, и умел выпутаться только благодаря покровительству некоторых сановников, которым успел оказать врачебную помощь. Особенно расположен здесь к иностранцам царский любимец, думный дворянин Матвеев, человек весьма умный и сведущий, которого за его доброту и я готов называть вместе с прочими «благодетелем народа». Даже посланники не пользуются здесь никаким доверием, и с ними обходятся еще с большей строгостью, нежели с другими иностранцами. С самого приезда в Москву и до выезда держат их взаперти, едва позволяя прогуливаться по улицам, и то под строгим караулом, который запрещает им малейшие разговоры с кем-либо посторонним. Поверишь ли, что вот теперь, с января месяца, то есть с самого приезда нашего посланника, я ищу случая увидеть его, чтобы попросить переслать к дяде в Саардам это письмо, которое нарочно всегда ношу с собою и, несмотря на все усилия мои, не мог до сих пор найти к тому случая. Вот разве сегодня при выезде успею передать ему, хотя и тут вперед уверен, что без какой-нибудь истории не обойдется. Да вот и теперь уже мимо нас прогуливается один молодец, которого приятное ремесло заключается в подслушивании народных толков и потом в клеветах на невинных, которых ему вздумается очернить для своей пользы. Это дьяк Тайного приказа Курицын, имеющий честь исправлять, сверх своего ремесла, у боярина Семена Лукьяныча Стрешнева обязанность ищейной собаки...

Раздавшийся у ворот посольского дома барабанный бой, дававший знать о скором выезде посланника, прекратил разговор наших знакомцев и принудил Пфейфера оставить своего товарища, чтобы пробраться поближе к дому. По этому сигналу стрельцы стройно выровнялись в рядах, а окольные, стольники и несколько бояр, назначенных для почетных проводов посланника из города и разъезжавших до того без порядка по улице на лихих своих аргамаках, собрались у ворот дома в ожидании выезда.

Шествие открылось посольскими людьми в сопровождении двух трубачей. За ними следовал отряд боярских детей и придворных чинов, сидевших на красивых конях персидской

породы, которые были обвешаны серебряными цепочками; на придворных чинах и боярских детях были надеты богатые одежды по образцу польских кафтанов. Далее ехало несколько бояр в великолепнейших нарядах из золотой парчи и бархата, с украшениями из жемчужных кистей, в высоких бобровых шапках. Дорогие кони, красовавшиеся под ними, имели на головах алые и белые страусовые перья и были покрыты разноцветными попонами. Наконец показалась посольская карета, на серебряных цепях, с вызолоченными колесами, в которой сидел посланник с двумя приставами и переводчиком. Шествие замыкалось посольскими служителями и трубачами.

– Господин посланник, удостойте выслушать просьбу подданного вашего государя! – громко вскричал Пфейфер, едва только карета поравнялась с местом, на котором стоял он.

Борель велел остановиться, несмотря на усиленные просьбы приставов продолжать путь, и, подзвав Пфейфера, спросил, что ему надобно. Аптекарь объяснил причины, заставившие его просить об остановке, рассказав, сколько времени он тщетно старался увидеть его, и, получив уверение посла в доставлении письма по адресу, вручил его Борелю.

Поезд двинулся.

– А что это, сиречь, за цедулу отдал ты в руки послу? – вскричал Курицын, вдруг, будто из-под земли, явившийся перед Пфейфером.

– А для чего бы, например, нужно было это тебе ведать? – спросил с улыбкой Пфейфер по-русски, потому что, проживая несколько лет в Москве, успел уже хорошо освоиться с русским языком.

– А хоть бы для того, чтобы на случай знать, – отвечал дьяк.

– Эх, любезный, – возразил Пфейфер с усмешкой, – вспомни вашу пословицу: много будешь знать, скоро состаришься. И без того ты не больно красив, а как появятся еще у тебя на лице морщины от старости, так тогда, голубчик, хоть сейчас же станови тебя на горох, вместо чучела!

– Слово и дело! – закричал Курицын неистовым голосом, порываясь схватить Пфейфера за руку, но тот преспокойно, отвернувшись от него, скрылся в толпе, которая, видя неистовство дьяка, нарочно сжалась, чтобы не допустить его до преследования.

– Счастлив ты, немец, что за тебя есть кому заступиться, а то бы я показал тебе, что значат застенки в Тайном приказе, – проворчал сквозь зубы Курицын, спеша избавиться от преследования мальчишек, которые кричали ему вслед, бросая комками грязи:

– У! Красный таракан! Что, взял?

## Глава вторая

Проведя утро в исполнении многотрудных обязанностей, Курицын отмеривал огромные шаги по улице, спеша в свое жилище, находившееся в Скородоме, чтобы хорошенько пообедать, когда раздавшийся вдруг пронзительный крик заставил его приостановиться. Почтенный дьяк находился в это время на мосту, между Лебединым прудом и государевым садом, а так как на этом пространстве стоял поблизости только один дом знакомого его городского дворянина Башмакова, на улице же никого не было, то Федор Трофимыч и заключил, что крик выходил со двора этого дома. Ничего нет удивительного, что почтенный дьяк, верный своей профессии, тотчас изменил свой путь и, вместо путешествия по улице, направил шаги к воротам двора, из которого раздавался крик. Отыскав, к великому удовольствию своему, в калитке огромную щель, Курицын обнаружил желание извлечь из нее всевозможную пользу и потому, приставляя к ней попеременно глаз и ухо, предался своему любимому занятию.

Живая картина, представившаяся дьяку на дворе Башмакова, была довольно занимательна по действующим в ней двум лицам, из которых одно был сам хозяин, лет за пятьдесят, невысокий, полный мужчина почтенной наружности; а другое – мальчишка лет двенадцати с глупой рожей и растрепанными белыми волосами. Судя по всхлипываниям мальчишка и странной прическе его головы, сметливый дьяк заключил, что слышанный крик был издан им и, по всей вероятности, выражал неудовольствие на заботливость, обнаруженную хозяином в поправке его прически. Но дальновидному знакомцу нашему хотелось знать, что именно заставило Башмакова принять на себя этот труд, и потому он почел долгом внимательно всмотреться в разыгрываемую сцену.

Действие происходило на обширном дворе, застроенном кругом, без всякого порядка, разными хозяйственными службами. Посередине двора врыт был шест с приколоченной на нем широкой доской, на которой красовалась нарисованная каким-то черным составом огромная рожа с раскрытым ртом, а шагах в двадцати от этого шеста, ближе к калитке, стоял хозяин с мальчиком: первый в легком домашнем полукафтани, из-за которого виднелась тонкая сорочка, вышитая по вороту разными шелками, а другой в каком-то балахоне из затрапезного холста и в круглой татарской шапке. В руке у него был лук, а за спиною колчан, из которого виднелась только одна стрела.

Семен Афанасьич Башмаков был городовым дворянином и некогда знакомцем<sup>1</sup> у князя Бориса Иваныча Лыкова, с которым жил несколько лет в Польше в бытность там князя по посольским делам. Успев заслужить расположение Лыкова и даже оказать ему какую-то услугу, Семен Афанасьевич, по смерти своего благодетеля, получил в наследство по духовной дом его в Москве, правда не обширный, но по состоянию его и по понятиям того времени об удобствах жизни, можно сказать, роскошный, в котором и поселился на постоянное жительство со своею женою. При доброте души и здоровом рассудке почтенный Семен Афанасьич имел, однако, за собою маленький грешок – честолюбие, которым с молодости обладал в значительной степени и которое, по переселении его в Москву, доложило ему, что не худо бы перебраться как-нибудь из городских в московские дворяне. Не говоря о значительных выгодах, сопряженных со званием московского дворянина (например, в получении денежного оклада, который иногда выходил от 15 до 210 рублей в год), звание это представляло более возможности к повышениям и занятию выгодных должностей. Но, проведя лет десять в бесполезных происках, Башмаков с горестью убедился, что с кончиною своего благодетеля он оставался без всякой поддержки и, следовательно, не мог ничего для себя выиграть, тем более что при незначительном состоянии не имел возможности уделять из него ничего для ценных подарков своим

---

<sup>1</sup> Так назывались бедные дворяне, жившие в домах бояр.

милостивцам, от которых зависело открыть ему выгодную служебную дорогу. Между тем с годами честолюбие Башмакова начало пропадать и со смертью жены, оставившей ему на руках двенадцатилетнюю дочь, почти совсем исчезло, и почтенный Семен Афанасьич, выбросив из головы мысль о повышениях, проводил спокойную жизнь, пользуясь благоразумно доходом с маленькой своей деревушки и утешаясь своею милою дочерью, расцветавшей на его глазах. Единственным последствием жизни Семена Афанасьича при именованном боярине была маленькая страсть отличиться чем-нибудь от кружка, к которому он принадлежал, подражая в образе жизни знатым людям, хотя, при ограниченном состоянии его, отличия эти состояли в самых ничтожных вещах. Впрочем, все, знавшие Башмакова, охотно прощали ему эту слабость и считали его за доброго человека, почему он и пользовался всеобщим уважением.

– Да научу ли я тебя когда-нибудь, хамово отродье, стрелять-то как следует, – говорил хозяин, обращаясь к мальчику, потупившему глаза в землю. – Ведь теперь, почитай уж, с Евдокиина дня мучаюсь я с тобой, а все путного нет ничего! Вот хоть и сегодня: разбросал все стрелы, а в цель не попал ни разу; знай пыряет по сторонам без толку. Ну, вытаскивай свою последнюю стрелу да меть прямо в рот, в намалеванную образину. Только смотри, брат Петруха, вперед тебе говорю: коли не попадешь, так я тебе задам такого трезвону, что до Петрова дня помнить будешь.

Мальчик сделал какую-то жалобную гримасу, вынул стрелу и, наложив ее на тетиву, начал прицеливаться в сделанное на доске изображение.

– Меть вправо, еще, много, подай влево, – командовал Семен Афанасьич, наклонясь зади мальчика и смотря через плечо его на конец стрелы. – Ну вот теперь так. Бац!

Стрела взвизгнула, высоко поднявшись над шестом, перелетела через забор и скрылась в соседнем огороде.

С распростертыми дланями, как разъяренный тигр, бросился Семен Афанасьич на волшебного стрелка в решительном намерении снова изменить имевшуюся на его голове прическу. Мальчик вскрикнул и упал на землю, в чаянии заслуженной и неминуемой кары.казалось, стрелку нашему ниоткуда нельзя было ожидать спасения, но судьба распорядилась иначе: она сделала орудием избавления Курицына.

Едва только Семен Афанасьич дотронулся до головы мальчика, как дверь калитки повернулась на петлях и почтенный Федор Трофимыч, сделав в воздухе какой-то удивительный прыжок, растянулся по земле у ног Башмакова.

Дело состояло в том, что дьяк, увлеченный интересом разыгравшейся перед глазами его драмы, налег очень крепко на дверь, которая, не сдержав его тела, совершенно неожиданно представила Курицына пред взоры Семена Афанасьича.

– Федор Трофимыч! С нами сила крестная! С неба, что ли, ты свалился? – вскричал Башмаков, не постигая, откуда вдруг мог явиться у ног его Курицын.

Но Федор Трофимыч, все еще распростертый без уважения на земле, вполне опровергал заключение городского дворянина о небесном его происхождении. Наконец он приподнялся со своего жесткого ложа и, отвесив низкий поклон хозяину, произнес:

– Здравия и благоденствия желаю всемилостивейшему благодетелю моему, Семену Афанасьичу, дому же его долгое стояние.

– Здорово, здорово, Федор Трофимыч, как это занес тебя Господь ко мне?

– Все собирался, батюшка, к тебе, да дела останавливали; но вот лишь улучил свободную минутку, дай, думаю, зайду осведомиться о здоровье своего милостивца. Только, видишь, какой грех попутал: запнулся о порог у тебя. Чем это ты, батюшка, изволил заниматься, – прибавил Курицын, показывая на шест с намалеванною рожею.

– А вот, Федор Трофимыч, учу этого молодчика стрелять из лука, однако, видно по пословице – не всякий гриб в кузов, – не дается эта ему грамота; поверишь ли, третий месяц маюсь с ним с утра до вечера, а толку нет ни на волос.

– Да что тебе так захотелось непременно его выучить?

– Экой ты какой! – вскричал Семен Афанасьич. – Неужели ты не знаешь, что у бояр на дворе нет ни одного холопа, который бы не умел стрелять в цель из лука. Вот у блаженной памяти милостивца моего, князя Бориса Иваныча, было дворовой челяди сотни три, да бывало, когда он вздумает потешиться стрельбою в цель, промахнись-ка кто из них: как примут его в батоги, сердечного – разом ребра недощупается. Ну что, как ты поживаешь, Федор Трофимыч?

– Помаленьку, батюшка. Теперь, как по милости благодетеля моего, боярина Семена Лукьяныча Стрешнева, поступил в Тайный приказ, хлопот-то больно много у меня прибыло; не то что в Посольском приказе, где служил прежде. Сам ведаешь, нынче какие времена: и польская война, и патриаршее удаление из Москвы, так в народе мало ли что толкуют, ко всему ведь надобно прислушаться. Вот и теперь, забегу только домой перекусить, потому что голоден как собака, да и отправлюсь сейчас же на Колымажный двор по приказу боярина. Часочка не выдается, чтобы после обеда соснуть хорошенько. Счастливо оставаться, Семен Афанасьич.

– Что ты, что ты, – вскричал хозяин, – показался, как красное солнышко осенью, да уж и тягу хочешь дать. Нет, брат Федор Трофимыч, так в гости не приходят: волей-неволей, а уж без обеда не отпущу. Да ты же сказал, что тебе надо идти на Колымажный двор, так чем ходить домой, в Скородом, отобедай у меня и ступай туда прямо отсюда, ведь от моего дома до двора-то рукой подать. Эй ты, Петруха, – сказал хозяин, обращаясь к мальчику, – беги к Аксинье, скажи, чтобы она нам поскорее на стол накрыла, да после сходи к соседу в огород, за стрелой-то. Благо сегодня счастливо отделался, а то бы я тебе задал хорошую таску!

После нескольких отговорок со стороны Курицына и увещаний хозяина Федор Трофимыч остался обедать у Башмакова и радушный Семен Афанасьич ввел его по высокому тесовому крыльцу в свою хоромину.

В переднем углу на дубовом столе, покрытом пестрой скатертью, красовались уже два оловянных блюда с такими же ложками и стопами и маленькие серебряные чарки. Салфетки тогда еще не были в употреблении и не подавались даже на дворцовых обедах, но Семен Афанасьич вынул из стола два ножа и, к великому удивлению Курицына, две вилки, которые в то время еще только начали вводиться в Москве между знатнейшими боярами. Одну из вилок положил Башмаков, с самодовольною улыбкою, к своему блюду, а другую – возле Федора Трофимыча.

Предки наши были плохими гастрономами, и искусство обедать со вкусом было у них в самом младенческом состоянии.

Правда, трапеза их была сытна, а в званые обеды и изобильна, в особенности при дворе, где во время празднеств большие и кривые столы ломились под тяжестью птиц и рыб с разными взварами и множеством пирогов с непонятными даже для нас наименованиями. Но все это приготавливалось с такими приправами, что какой-нибудь Ватель или Карем после нескольких проглоченных кусков оставил бы сначала кушанье, а потом, пожалуй, и сей тленный мир.

В описываемую нами эпоху дворцовые и боярские обеды начинались, обыкновенно, студнем из говяжьих ног, а потому и почтенный наш Семен Афанасьич не мог обойтись без этого блюда. В самом деле, толстая Аксинья принесла исторический студень, пирог с гречневой кашей, жареную рыбу и рубленую баранину и, поставив все вдруг на стол, с низким поклоном удалилась из горницы, но через несколько минут снова явилась с фляжкой наливки и братиной с вишневым медом.

– Просим пожаловать, – сказал Башмаков, придвигая после крестного знамения к гостю блюдо со студнем и принимаясь сам за вилку.

Курицын, облизывая губы, принялся уже было атаковать предлагаемое ему кушанье, но, взглянув на хозяина, отодвинул блюдо и в молчании уселся на свое место.

– Что же, приятель, кушай на здоровье: студень добрый. У меня Аксюша куда мастерица его делать.

– Благодарствую, Семен Афанасьич, я до него не большой охотник.

– Добро, как изволишь, – отвечал Башмаков, плотно принимаясь за студень. – Да не прикажешь ли наливочки, – продолжал он. – Черемуховая, батюшка, осталась еще от князя Бориса Иваныча, царствие ему небесное.

На этот раз Федор Трофимыч не заставил себя долго упрашивать и, наполнив чарку наливкой, разом осушил ее.

Утолив свой голод студнем, Семен Афанасьич снова обратился к гостю:

– Теперь милости просим откусать баранинки. Да не прогневайся, у меня, как видишь, кушаний немного, дело домашнее, гостей на примете не было.

Курицын давно уже поглядывал на мелко искрошенную баранину, которая красовалась перед ним на блюде, обложенная пшеном и изюмом, но при первом приглашении хозяина, принявшегося вилкою за новое кушанье, поспешил от него отказаться.

– Что за диво! – вскричал изумленный Семен Афанасьич. – Да ты видно, брат, вздумал, как затворник, уморить себя голодом. Или обещание дал постничать? Налей, батюшка, медку-то да прикуси баранинки хоть немножко.

Курицын наполнил свою стопу крепким вишневым медом и в один прием выпил до дна, но до баранины не дотрагивался.

– Испиваешь-то ты, господь с тобой, на здоровье, да что ничего не перекусил? Кажись, время, – сказал хозяин. – Ведь не по-басурмански же обедать, в тринадцатом часу!

– Признаться, мне что-то есть не хочется, – промолвил со смущением Курицын, умильно поглядывая на баранину.

– Час от часу не легче! – вскричал Семен Афанасьич. – Да не сам ли ты давеча сказал, что есть хочешь как... прости господи, выговорить-то не хочется, а теперь чванишься, словно сваха на сговоре.

Пристыженный Курицын не знал, что отвечать, и, взявшись за свою вилку, поднял на нее кусочек баранины.

С величайшей осторожностью, как будто на вилке находилось не мясо, а раскаленное железо, начал он подносить баранину к своему рту, но неловко взятый кусок вздумал перед самыми губами слететь с вилки, и почтенный наш дьяк вместо лакомого кушанья почувствовал вдруг, что в язык его вонзилось разом два острия.

– Кой черт, что это у тебя за железные грабли, Семен Афанасьич? – наконец произнес Курицын, видя, что Башмаков помирает со смеху. – Откуда достал ты эти заморские вилы?

– Ах ты, греховодник, греховодник, – вскричал хозяин, продолжая смеяться, – да ты бы давно сказал, что не умеешь есть вилкой-то! – При этих словах на лице его явилась самовольная улыбка. – Добро, отложи-ка ее в сторону.

Курицын, обличенный в своем невежестве и не евший ничего единственно оттого, что не умел владеть вилкой, которую видел только в первый раз, услышав предложение оставить предмет, причинявший ему такое беспокойство, поспешил произнести:

– Ну ее к праху, – и принялся за кушанья.

На этот раз к Курицыну возвратился аппетит, кажется, за несколько дней, потому что в течение пяти минут он уложил в свой желудок столько провизии, что ее достало бы безобидно на четверых.

– Уж, подлинно, хитрый народ эти немцы, – начал Башмаков, стараясь обратить разговор на предмет, льстивший его самолюбию, – вот проклятые, выдумали какое заведение. А нельзя же, нашему брату, городовому дворянину и знакомцу боярскому, не приводится жить как какому-нибудь бобылю или посадскому.

– Вестимо так, Семен Афанасьич, большой ладье большое и плаванье. Да от кого это перенял ты? Во всех купецких рядах, чай, не найдешь такого дива?

– Экая ты голова; ну есть ли теперь в Москве хоть один боярин, у которого бы не было такого инструмента. А у немцев-то так всякий смерд с вилкой, вишь, без нее за стол не сядет. Мне это доподлинно сказывал Алексей, литейщиков сын, который и подарил мне эти вилки. То-то голова!

– Какой Алексей?

– Ну, сын того молодца, что вылил Царь-колокол, который теперь лежит, батюшка, подле Ивана Великого; разве ты ничего не знаешь о нем?

– От кого мне знать, и не слыхивал.

– Эх, брат, Федор Трофимыч! Не многое же, видно, тебе известно, кроме твоих дьяческих дел. Да у нас об Алексее теперь в трубу трубят: о нем только и разговоров.

– Как так? – вскричал Курицын несколько обиженным тоном. – Расскажи, батюшка, что это за Алексей, человек Божий?

– Да вот, лет десяток тому с небольшим, помнится, так точно, в тысяча семьсот шестьдесят втором году, моей дочери исполнился тогда шестой годок, тебя, кажись, еще не было на Москве, вздумал царь наш батюшка снарядить послов в китайское государство, чтобы китайский король узнал о его, государя, величии, а между тем проведать о торговле и силах китайцев. Послом назначен был Федор Исакович Байков, которому строго наказано было, чтобы он все в том царстве высматривал и обо всем бы отписывал государю с точностью и везде, где будет следовать, внушал бы о силе и величии царя нашего. Вот, спустя малое время и отписал Федор Исакович в посольский приказ грамоту, в которой уведомляет, что проведал доподлинно, что в нечистом их королевстве, в городе Пекине находится благовестительный колокол, который превосходит многим даже наш, вылитый при царе Борисе Федоровиче. Вес китайского колокола означен был в сто двадцать тысяч фунтов, а окружность более пятнадцать аршин. Смущилось царское сердце благоверного государя, услышав, что поганый китайский хан владеет таким чудом, и дал Алексей Михайлович обещание, слушая утреню в первый день Воскресения Христова, слить колокол, который был бы первый во всем мире на удивление прочим народам. Тотчас же, по указу государеву, приготовлено было для колокола меди пятнадцать тысяч пудов да сорок тысяч ефимков из чистого серебра. Но когда собрали немецких мастеров и литейщиков, то ни один из них не взялся вылить такой величины колокол. Царь в великой печали хотел уже посылать в немецкую землю отыскивать литейщиков, только вдруг, откуда ни возьмись, один русский мастер, лет двадцати пяти, молодец такой личменный, кровь с молоком, ударил челом государю, просит дозволить ему выполнить его царскую волю. Возрадовался государь, что за это берется православный христианин, и, осведомясь, что он искусен в литейном художестве, поручил ему великое дело. Русский мастер в конце того же года выполнил, ко всеобщему удивлению, государеву обещание. Ну уж подлинно царь-колокол! А! Каков, Федор Трофимыч, сердце радуется.

– Воистину радуется, – вскричал вдруг Курицын. – Знатный, Семен Афанасьич, видит Бог, знатный, только крепонек немного: у меня, почитай, в голове зашумело. Да и наливка-то у тебя, ей-же-ей, преизрядственная!

Почтенный дьяк, исправно попивавший находившийся перед ним в братине крепкий мед, давно уже не обращал внимания на рассказ Башмакова, но, услышав последние похвалы его и полагая, что они относились к меду, не замедлил и сам изъявить удовольствие.

Семен Афанасьич с удивлением взглянул на своего собеседника и, поняв причину его ответа, сказал с улыбкой:

– Не хочешь ли после обеда немножко соснуть, Федор Трофимыч, тебе уж, я вижу, не до рассказа.

– Нет, нет, это так вздремнулось; рассказывай дальше, Семен Афанасьич, теперь я словечка не пророню, – произнес Курицын, спохватясь в своей ошибке.

– То-то не проронишь. Налей-ка, кстати, и мне медку-то. Ну так вот, был у этого литейщика сынишка, лет, видно, десяти, только уж такой разумный да понятливый, что всем на удивление. Придем, бывало, на литейный двор, где занимался мастерством его отец, так он все расскажет, как по писаному: и планы все растолкует и надписи прочитает, вот ни дать ни взять, как школяр андреевского училища. Приглянулся мне мальчик. Говорю я раз отцу его: «Отдай мне сынишку-то твоего, я его буду держать за свое собственное детище»; ребятишек же у меня только маленькая Леночка. А тот и невесть как обрадовался. Возьми, говорит, батюшка, моего Алешу. Матери у него нет, а самому присмотреть за ним некогда: натерпится подчас и голоду, и холоду. Вот и переселился ко мне мальчик. Сам-то литейщик скоро помер. Говорят, что его немцы окормили зельем, за то, что он у них мастерству научился, да им же и подрыв сделал; а другие сказывают, от радости, что царь пожаловал ему великую милость: триста рублевиков. Таким образом жил у меня Алеша лет семь. Да вот года четыре назад нашла на него словно болезнь какая, стал он хилеть да задумываться. Увидит что-нибудь заморское, загорится парень, словно в огневице, и начнет думать, как бы сделать то же самое. Пойдет к немцам в Иноземную слободу и живет у них, пока не научится, чему задумает. Вот ему минул уж, почитай, семнадцатый год, когда раз подозвал я его к себе, да и говорю: «Пора-де тебе, Алексеюшка, своими руками хлеб наживать: Господь наделил тебя разумом, так ты талант свой не зарывай в землю; ты уж пришел теперь в лета, так сидеть дома, сложа руки, не приводится. Ступай в государеву службу или выбери себе какое ни на есть мастерство». Куда тебе, и слушать не захотел. Говорит: «По гроб-де не забуду твоих благодеяний и сам чувствую, что в доме твоём жить мне не приводится, потому сего же дня и выйду из него; только молю тебя не принуждать меня к тому, к чему не лежит сердце. Какую принесу я пользу царю своей службой? Ратных людей и письменных, и мастеровых у него и без меня много, а я лучше пораздумаю, да поучусь немецким хитростям, так, авось, что-нибудь сделаю на славу всего русского народа и на радость царю-батюшке, как покойный родитель мой». Теперь четыре года, как он живет у меня на задах у просвирни Кононовны, и хоть никаким особенным мастерством не занимается, а когда что сделает, балясы ли какие выточит, петуха ли на конек вырежет, так только у него и поучиться: любо да дорого! Зайдем когда к нему в дом, так, небось, лежа на боку его не застанешь: все что-нибудь копошит. А уж в гости позвать с собой куда-нибудь и не думай. Разве изредка, в год раза два только, забредет ко мне или к своему крестному отцу, моему старому приятелю, купцу суконной сотни, Ивану Степанычу Козлову... Э, да постой-ка, кажись, – да так и есть, ведь Козлов-то сегодня именинник. Жалко, что мне что-то недомогается, а то забрел бы к нему вечером. Ты, чай, с ним знаком, Федор Трофимыч?

– Как же, – отвечал дьяк с коварной улыбкой, вспомнив, как он поутру напугал Козлова, – я его сегодня и с днем ангела поздравлял. Только ты мне, Семен Афанасьич, – продолжал дьяк, после небольшого молчания покачав головой, – насказал про своего приемыша, Алексея, и невесть что: и разумник-то он, и то, и се. А рассуди-ка сам хорошенько: ну какой он человек, коли и чтению и письму обучен, а вместо того, чтобы идти хоть в площадные подьячие, сам ты говоришь, якшается только с немцами-нехристями? Что же в нем за прок, если он хоть и хитрости какие ведаёт, коли следует их нечистым заговорам, а может быть уже, почем знать, и веру христианскую оставил...

– Что ты, с нами сила небесная, может ли это быть? – вскричал Башмаков с ужасом, осеняя себя крестным знаменем. – Да я, если так, его к себе и на глаза не пушу.

– И доброе дело сделаешь, Семен Афанасьич, этак с ним долго ли до беды, и в Тайный приказ, пожалуй, потащат.

По выходе из-за стола гостеприимный хозяин велел подать еще одну фляжку с наливкой, а когда та была распита, то, подозвав к себе прислуживавшую девку, пошептал что-то ей на ухо и в молчании, потирая руки, уселся на лавке.

Через четверть часа отворилась дверь в соседнюю хоромину, и на пороге показалась девушка необычайной красоты, держа в одной руке на маленьком серебряном подносе золотую чарку. Черные как смоль волосы ее украшались широкою повязкою из алых лент с жемчужными поднизями. Тонкая, искусно сложенная на локтях рубашка выказывалась из-под богатой штофной ферязи и надетого сверху объяринного опашня с длинными рукавами, усаженного спереди позолоченными пуговицами. Большие черные глаза ее были опущены на землю, а прелестное личико, как утренняя заря, рдело нежным пурпуром. Часто вздымавшаяся на груди двумя волнами сорочка, дрожащая ручка и расплесканное на подносе вино обличали неровное дыхание красавицы...

– Подойди сюда, моя голубка, да приветствуй дорогого гостя, – сказал Семен Афанасьич, нежно глядя на девушку, единственную дочь свою.

Молодая красавица сделала несколько шагов вперед с подносом и снова остановилась в смущении перед гостем.

По всем правилам этикета того времени Курицын должен был, взяв с подноса чарку, тотчас же выпить ее, произнеся за сделанную честь приветствие хозяину, и поцеловать хозяйку, в знак своей благодарности. Но Федор Трофимыч, выпив вино, и не думал воспользоваться этим прекрасным обычаем наших предков. Он стоял, как истукан, без всякого движения, и только моргавшие глаза его и ослабленный рот показывали в нем признаки жизни.

Смущенная девушка, поставив поднос на стол, вышла из горницы по данному знаку от отца, который с неудовольствием смотрел на дьяка, все еще стоявшего без движения.

– Этакая звезда лучезарная! – вскричал наконец Курицын, выйдя по уходе Елены из оцепенения. – Ну, Семен Афанасьич, дочка у тебя: рай эдемский.

Это восклицание гостя, свидетельствовавшее о впечатлении, произведенном дочерью Семена Афанасьича, помирило с ним Башмакова. Он с улыбкою самодовольства и отцовской гордости погладил свою бороду, а Курицын, все еще не пришедший в себя от смущения, проворно схватил свою шапку и, пробормотав что-то хозяину, поспешно вышел из хоромины, ударившись по дороге лбом о притолоку. Через минуту он уже бежал по улице, придерживаясь рукой за голову.

## Глава третья

Солнце давно уже скрылось с небосклона, и на улицах московских царствовала совершенная тишина, нередко только прерываемая лаем собак и голосами решеточных приказчиков, принуждавших гасить огни, которые мелькали еще в иных домах через налитые маслом холстины; но яркий свет, падавший на землю из небольших окон довольно обширного дома в одной из улиц Китай-города, и отворенные обе половины ворот доказывали, что в нем происходило что-нибудь особенное. В самом деле, хозяин дома, купец суконной сотни Иван Степаныч Козлов праздновал день своих именин.

В просторном покое, окруженном со всех сторон лавками, покрытыми коврами, беседовало человек десять друзей Ивана Степаныча. Несколько пустых фляжек, стоявших на столе, а всего более раздуманные лица некоторых из посетителей доказывали радушие хозяина и вежливость собеседников, которые, вероятно из угождения имениннику, не отказывались от задравных кубков, и хотя беседа шла пока еще чинно, но шуточки и веселые поговорки, возбуждаемые хмелем, уже начинали проскакивать у более усердных поклонников старого меду и романи. Особенно словоохотлив был на рассказы один из гостей небольшого роста, но необъятной толщины, которого нос, принявший форму и цвет махрового мака, доказывал, что такого рода препровождение времени было для него весьма обыкновенно. Маленький рост его и довольно простоватое лицо делали большую противоположность с важною миною, которую он старался себе придать. Занимаемое им под самыми образами место и внимание, оказываемое прочими собеседниками к его словам, доказывали уважение, которым он пользовался: это был жилец, Никита Романыч Кишкин, бывший два года назад в числе прочих при посольстве боровского наместника Лихачева во Флоренции. По правую руку, несколько в отдалении от него, сидел худощавый, высокий мужчина, пользовавшийся также, по-видимому, немалым уважением хозяина. Стоявший перед ним недопитый кубок с взварцем показывал, что он менее прочих собеседников был виновен в опустошении хозяйских сулей и фляг; зато в нем и не видно было обыкновенных последствий вина – говорливости. Но, несмотря на молчание, черные пронизательные глаза худощавого мужчины, как будто в противоположность с неподвижностью языка, обращались беспрестанно с большею внимательностью во все стороны, а короткие ответы, которые он подчас давал вопрошавшим его иногда вдруг с разных сторон собеседникам, доказывали отличный его слух, различавший в общем шуме, о чем идет речь во всяком отдельном кружке. Узкий однорядок черного цвета, сшитый по особому покрою, и широкий кожаный кушак давали знать, что этот худощавый гость принадлежал к числу бывалых людей. Бывалыми людьми назывались у наших предков люди, ходившие на поклонение в отдаленные места, славившиеся своими святынями, и преимущественно в Иерусалим, за что они пользовались особым уважением своих сограждан, как лица, видевшие свет и приобретшие более житейской опытности в многотрудных своих странствованиях. По обеим сторонам описанных нами гостей Ивана Степаныча заседали по лавкам прочие друзья его, вероятно, уже не столь значительные в глазах хозяина. Наконец, возле двора, в самом углу, противоположном образом, сидел молодой человек с несколько, по-видимому, болезненным, но чрезвычайно приятным видом. Бледное лицо его, на котором только по временам вспыхивал нежный румянец, разительно отличалось от большей части собеседников, лица которых уподоблялись цвету зрелой малины, а большие голубые глаза молодого человека, не выражавшие никакого участия к окружающим, и частое склонение на грудь головы, осененной темными густыми кудрями, доказывали, сколь неприятна была для него беседа, в которой он находился. По всему видно было, что молодой человек, погруженный в собственные размышления, мало обращал внимания на рассказ жильца Кишкина, который слушали все прочие с крайним любопытством, но некоторые долетавшие до него слова рождали на лице юноши какую-то горькую улыбку. По

временам, однако, глаза его вспыхивали и все внимание напрягалось, чтоб вслушаться в рассказ; тогда он весь обращался в слух; но проходила минута, и он снова погружался в задумчивость.

– Ну исполать тебе, Никита Романыч, – вскричал хозяин, когда Кишкин окончил рассказ о кораблекрушении, которое претерпело посольство близ Ливорно, – натерпелся ты, мой батюшка, в поганой басурманской земле, как еще косточки-то свои вынес. Что если бы тебе, Алексеюшка, – продолжал он, обращаясь к молодому человеку, – пришлось ехать каким-нибудь образом к басурманам? Что бы случилось с тобой, если ты и к крестному-то отцу раз в год ленишься зайти?

– О, если б это было возможно! – вскричал вдруг юноша, вспыхнув и схватясь одною рукою за голову.

– Что ты, что ты? Господь с тобой, загорелся вдруг, словно в огневице? – сказал с беспокойством Иван Степаныч. – Не болен ли ты чем, Алеша? – проговорил он с участием, подойдя к юноше.

Но краска, на мгновение разлившаяся по лицу молодого человека, снова пропала, и он, не отвечая ничего, опять принял прежнее положение.

Между тем разговор снова завязался о путешествии, и Кишкин с важностью продолжал рассказ о чудесах, им виденных, прерываемый беспрестанными возгласами слушателей, выражавшими удивление.

– Много чего натерпелись мы, – сказал Кишкин, махнув рукою, – да все прошло, а как приехали в главный-то город басурманский, Флоренск, так уж видели такие дивы, что и описать не уметь, потому что кто чего не видал, то ему и в ум не приходит. Град безмерно строен, огражден палатами превысокими, а столбов преогромных, сажени по пятидесяти и больше, с шесть. Кирки зело стройны, одну делают уже лет двадцать, а еще делали лет двадцать, трут пилами все камень-аспид. Во дворце, где живет великий герцог, нижних палат с пятьдесят, а в них устройство и вещи предивные: однозолотные и хрустальные, а столы аспидные, навожены дорогими травами с золотом, во всякой палате стекла хрустальные, в виду весь человек аршина на полтора. А в иных палатах проведена вода прехитрым делом: отвернул шуруп, и всех людей в палате омочит; а идет вода на разные капли из камня, из решеток железных, и капли идут на конское побежище; а шуруп завернут, и воды станет только. Особливо дались мы диву в палатах у великой герцогини.

– Как так? – вскричал один из гостей в недоумении. – Да неужели вам и в палаты герцогини дозволили войти?

– Экая ты головушка, – отвечал Кишкин, – да по приказу великой герцогини мы к ней и приходили, видели ее и сто две девицы, и сенных боярынь, одетых по их обычаю в личинах всяких цветов, а у жен груди голы и на головах нет ничего.

– Ну уж подлинно, басурмане, – вскричал хозяин, плюнув на пол, – да как это их Господь Бог терпит на земле?

– И не введи нас во искушение, – прошептал Бывалый, осенясь крестным знаменем.

– Были мы и в герцогском саду: взведена там вода вверх сажени на четыре, и устроен Иордан<sup>2</sup>, и выше Иордана сажени с две вверх беспрестанно вода прыгает на дробные капли, а к солнцу, что камень хрусталь. Около крыльца древа Кедровы и кипарисны, и благоухание великие, яблоки великие и лимоны роятся по дважды в год.

– За чтой-то их Господь милует и награждает, – вскричал толстый купчина с окладистой бородою, облизнувшись губами. – Уж пусть бы были православные, а то еретики проклятые, страшно вымолвить, круглый год, говорят, поста не держат и в Страстную седмицу едят молоко да яйца...

---

<sup>2</sup> Фонтан.

– Эко диво, чудеса, полно, правда ли? – раздалось между гостями, и взоры всех устремились на Кишкина, как будто спрашивая, действительно ли может Бог терпеть таких людей на земле. – Воистину так, – с важностью сказал Кишкин, сделав утвердительный знак головою. – Только, видно, им в этом свете и веселиться, – прибавил он, – а потом пойдут все в тартарары, в котги нечистому. Каждый из вас ведаёт, что басурмане знают с лукавым, который их руками творит все, к соблазну православных?

– Правда, правда, как не знать, – вскричали все, кроме Алексея, который только улыбнулся, бросив сострадательный взгляд на своих собеседников.

– В палатах великого герцога, – продолжал рассказчик, – видели мы такие чудеса, что когда бы это не было волшебство, то каким же бы образом могло произойти? В то самое время, как мы находились у великой княгини, принес туда герцог в золотой миске шелк и бумагу и велел их сначала жечь на огне, потом и совсем бросить на огонь. Какому же диву дались мы, когда бумага и шелк не только не сгорели, но сделались еще чище и белее! Показывали нам также черный камень, видно волшебством сделанный, который притягивал к себе железо, словно живой человек руками. Называли его магнитом, – видно, какое-нибудь чародейское слово. Видели мы еще шкатулы, присланные в дар от испанского короля, прехитрым делом устроенные: как их отомкнут – и начнут в них люди ходить, как бы живые. А в городе их Пизе стоит башня вся на боку, так что подойти страшно, не знаешь, так кажется, того и смотри, что свалится; а ее заколдовали так, потому что она так же крепка, как наш батюшка Иван Великий...

– Подлинно дьявольское наваждение! – раздался вдруг громкий голос, незнакомый собеседникам.

Все вздрогнули и обратились глазами к дверям. У порога стоял почтенный дьяк Федор Трофимыч Курицын, прихода которого не заметил ни один из гостей, занятых рассказом жильца. Трудно представить то неприятное впечатление, которое произвел на собеседников приход Курицына: все знали достохвальную должность его, и хотя не имели прямой причины бояться, однако всякий опасался, чтобы при таком госте не сказать чего-нибудь лишнего. Но в особенном страхе был сам хозяин, предполагавший, что явление дьяка имело связь с утренней беседой перед домом голландского посла. Впрочем, он старался принять на себя спокойную мину, хотя бледность лица его и свидетельствовала о его внутреннем волнении.

– Милости просим, дорогой гость, – закричал Иван Степаныч прерывающимся голосом, – просим покорно садиться. Вот уж не ожидал такой радости. Сюда, батюшка, ко столику-то поближе: да не прикажешь и фряжского?

После поздравления Курицыным хозяина и взаимных приветствий почтенный дьяк выпил стопу вина, поднесенную ему именинником, и, усевшись за стол, поднял снова прежнюю нить разговора.

– Эко, подумаешь, – начал он, – проклятое семя эти немцы! Недаром сказано в Писании: сеющий злое и пожнет злое, а они ведь все происходят от Хамова колена. Видно, их нечистый и по земле-то расселяет только на пагубу христианства. Вот хоть и в Москве, примером сказать, разве на добро поселились они? Соблазняют только честной люд своим беспутством да заговорами. Уж кому об этом знать лучше, как не мне: я был сам у немцев в переделе, да еще у главного их звездочета, Адама Омария. Приезжал он в Москву, прах его знает зачем, только случилась мне нужда зайти к нему в жилище по посольским делам. Я был тогда еще в Посольском приказе. Пошел я к нему в праздник, прямо от обедни, авось, думаю, побоится ладана. В переднем покое никого не было. Вот я постоял, да перекрестясь и подкрался к другой двери, которая была немного недотворена; смотрю, в другой хоромине темно, хоть глаз выколи. Я подался назад, а из темного покоя раздался голос самого Омария: «Поди, говорит, сюда, я тебе покажу некую хитрость». Ну, думаю, куда ни шло; двух смертей не будет, одной не миновать, дай войду, что он мне там покажет. Омарий припер дверь и долго что-то колдо-

вал в темноте, потом подошел к окну, наглухо заделанному доской, провернул в ней шелку и поставил меня перед какой-то белой холстиной, повешенной на стене; взглянул я на нее, да и обмер. Господи ты боже мой! На всей холстине явились живые люди, кто в телеге, кто верхом, кто с чем идет, только все не ногами, а на голове ходят. Смотрю, воз везут: лошадь скачет на спине, копытами вверх, воз-то навыворот, а сено не валится... Так меня словно обухом по голове и ошеломило: хочу перекреститься, да рука не поднимается, а колдун хохочет во все горло. Не знаю, как до дому живой добрался. Так вот они как морочат, немцы-то! Эх, была бы воля, так всем бы им разом дать карачун да по осиновому колу вбить на могиле, чтобы не ходили по ночам пугать православных. Уж какие же это, прости господи, люди, коли в Бога не веруют, а поклоняются какому-то волшебнику Лютеру да вместо Святого Причастия пьют кровь от малых детей своих...

Во все продолжение рассказа дьяка лицо Алексея выражало попеременно то презрение, то сожаление, но при последних словах Курицына он не мог скрыть своего негодования и сказал, едва скрывая свое волнение:

– Не личит тебе, господин честной, порицать так немцев, хоть они и не нашей веры. Если их и государь наш батюшка жалует и награждает за их труды, стало быть, они приносят не вред, а пользу; а что они больше нашего науки ведают, за это им честь, а не бесчестие. Они, как и мы же, поклоняются единому Богу, и что ты говоришь об их вере, не прогневайся, просто бабьи сплетни...

– Не прытко, не прытко, молодец, – закричал с запальчивостью дьяк, – имени и отчества твоего не знаю, а по словам твоим ведаю, что и тебя, видно, отвлекли от православия и соблазнили в свою поганую веру окаянные еретики, от которых, по толкованию Апокалипсиса, явится сам Антихрист.

Как раненый зверь, быстро поднялся Алексей с места и, стремительно подбежав к дьяку, занес над ним кулак свой. Несчастный Курицын побледнел как полотно и в смертельном страхе отшатнулся к стене, выставив пред собой руки, как бы прося о помощи.

Вся фигура его выразила такое забавное смешение трусости и унижения, что Алексей, за мгновение перед тем готовый раздробить ему череп, взглянув на лицо его, забыл весь гнев и сказал только, обратясь к дьяку с улыбкой:

– Антихрист уж явился, и разве только слепой не распознает его в твоей дьячьей шкуре. – После этих слов он взял шапку и, поклонясь своему крестному отцу, медленно вышел из хоромы.

– Ах ты, молокосос! – вскричал дьяк, выждав, когда Алексей уже скрылся за дверями. – Да слыханное ли это дело, обижать так государственных людей? Да о двух, что ли, ты головах, голубчик, али и одной тебе не жалко стало? погоди, мое красно солнышко с изьянчиком, уж я тебя доеду когда-нибудь, на дне морском сыщу! Что это у тебя был, Иван Степаныч, за храбрый богатырь, Полкан Королевич?

– Не прогневайся, батюшка, – отвечал хозяин с низким поклоном, – это мой крестник...

– Алексей? – вскричал Курицын. – Так это об нем-то, по рассказам Семена Афанасьича, во сто труб трубят! Ну, Иван Степаныч, заморское диво твой крестник. Научил ты его, родимый, вдоволь уму-разуму...

– Отступаюсь от него, окаянного, – сказал скоро Козлов, – видит Бог, отступаюсь, чтобы он у меня в доме и носу не показывал, если взял продерзость оказать неуважение к твоему лицу именитому...

– Счастлив, Иван Степаныч, что я имею до тебя нужду, – сказал Курицын тихо Козлову, отведя его в сторону, – а то бы я твоего крестничка-то за такую обиду на одну ладонь положил, а другой прихлопнул, да и тебе бы хлопот не миновать. Право, счастлив; видно, ты уж так в сорочке родился... Выйдем-ка в особую светлицу, словцо-другое перемолвить.

Поставив перед гостями трепещущими руками по фляжке романи и наливки, Козлов вышел неприметно с Курицыным за дверь и, пройдя сени, ввел его в другую хоромину, несколько меньшую против первой.

– Нечего греха таить, Иван Степаныч, – начал Курицын, осмотрясь кругом и видя, что они были одни, – хоть ты меня не видал до сего дня и целый год, да я-то за тобой смотрел в оба глаза. Знаю всех твоих и старших, и братий...

– Помилуй, отец родной, – сказал Козлов умоляющим голосом.

– Да вот и сегодня-то, – продолжал дьяк, – как быты за своим крестником получше приглядывал, так этого бы не случилось. Ведь уложение-то гласит: понеже отец крестный...

– Не погуби, родимый...

– То-то, не погуби. Ну да ладно; я не злопамятен, все забываю; сослужи же и ты мне службу, Иван Степаныч.

– Что прикажешь, кормилец, все будет исполнено. Только не выдай...

– Скажи по правде, дружен ли ты с Семен Афанасьичем Башмаковым?

Этот вопрос поставил в тупик Козлова. Не зная, для чего спрашивал об этом Курицын, он замялся, придумывая, что ему отвечать. Наконец произнес протяжно:

– С Семен Афанасьичем, батюшка?

– Ну да!

– Вот, что возле государева-то сада живет?

– Да кто же другой? Он только здесь один на Москве...

– Как бы тебе сказать, мой батюшка... Приятели-то мы приятели, да не то чтобы в большой дружбе были... Уж мы с ним сызмала вместе... один к другому не ногой... Не прогневайся, родимый, как тебе будет угодно!

– Кой черт, что ты от меня, Иван Степаныч, словно заяц от охотника, петли кидаешь? Я тебя, кажись, только спрашиваю?

– Уж если тебе правду сказать, так мы с ним поразмолвились на прошлой неделе.

– Ой ли, эка беда! Да неужто ты с ним в ссоре?

– Кто, я, батюшка? Да этаких приятелей, как мы, днем с огнем, а ночью с фонарем искать. Да еще как ребятами-то мы были, так нас двумя голубями звали, полвека прожили в одну душу...

– Ну так, Иван Степаныч, челом тебе бью: выручи, родимый. – С этими словами Курицын поклонился до земли Козлову.

– Прости и ты меня, батюшка, – вскричал хозяин, не понимая, в чем дело, и повалился на землю перед дьяком.

– Что ты, что ты, Иван Степаныч, да теперь я тебя прошу: будь отцом родным, помоги мне...

– Чем, мой батюшка? Рад служить верой и правдой. А коли суконца нужно, так я тебе обещал самого преотличного. Только теперь оно в лавке лежит, так уж разве позволишь оставить до завтра...

– Нет, Иван Степаныч, теперь мне не до сукна: а пришел тебя просить высватать за меня единородную дочку Семена Афанасьича. Быть не могу без нее! Так вот меня и подмывает, жизнь не в жизнь! Давеча утром, как увидал я ее, так словно варом меня и обкатило: вот и теперь еще шишка на лбу. Видишь, над правым глазом.

– Понимаю, батюшка. Сиречь дочка Семена Афанасьича тебе сердечушко зазнобила; только, воля твоя, не возьму в толк... от чего же у тебя шишка-то?

– Экой ты какой! Ну да ведь я тебе говорю, что как я посмотрел на нее, так в глазах мурашки запрыгали, и уж я не знаю обо что я ударился лбом и как у себя дома на постели очутился! Только как дурь-то у меня прошла, я и вспомнил, что мне говорил Семен Афанасьич о твоей к нему дружбе и что ты именинник сегодня. Хотел было обождать до утра, да нет, не

утерпел, ну бежать к тебе скорее... Уладь, родимый, свадьбу-то нашу, так я себя по смерть закабалу к тебе...

Курицын опять упал в ноги Ивана Степаныча.

– Ладно, Федор Трофимыч, быть по-твоему, – отвечал Козлов, – буду твоим сватом. Только ведь Семена Афанасьича скоро не уломаешь: любит он, видишь, все водиться с почетными да богатыми, а ты хоть и дяк, да киса-то у тебя не туга. Торопиться в этом деле не надобно: тише едешь, дальше будешь. Тебе бы пообождать хоть до Петрова дня...

– Не могу, родимый, видит Бог, не могу.

– Ну хорошо. Ужо я при первом случае, как удосужусь побывать у него, намекну о тебе, а там на другой раз и все выскажу. Ведь не мудрено поспешить, только чтобы людей не насмешить, как говорит пословица. Сукнами торговать мое дело, а сватом быть прежде не приводилось. Однако, пойдём-ка к гостям, они уж и невесть что о нас думают.

## Глава четвертая

Между тем как Курицын объяснял наедине Ивану Степанычу о своей задушевной тайне, оставшиеся гости не замедлили обратить внимание на фляги с романеёй и наливками, поставленные на столе перед уходом гостеприимным хозяином. Животворная влага, переливавшаяся из склянок в желудки посетителей, подействовала на них столь живительно, что Козлов, при входе с Курицыным в хоромину, где пировали гости, едва верил глазам, чтобы это были те же самые лица. Вместо чинных, однообразных рассказов слышалась громкая дружеская беседа, в которой всякий хотел высказать свои задушевные тайны и один не слушал другого. Рассказы о чудесах, существующих в заморских странах, и басурманах-иноверцах заменились повестями о чудесах доморощенных: один старался передать собравшимся вокруг его приятелям впечатление, какое чувствовал он в то время, как его давил домовою; другой клялся всеми святыми, что когда было на него раз напущено, то знакомый ему колдун, прочитав только несколько слов из своей черной книги, исписанной заговорами, чарами и обаяниями, мгновенно вылечил его, как рукой снял; третий рассказывал о необычайных усилиях, которые он должен был употребить при доставании крючка и вилки из костей парных лягушек, заключенных им в муравьиною кочку. Жилец Кишкин, утопивший свою спесь в кружке романеи, целовался по очереди то с нею, то с собеседниками и, забыв о путешествии по заморским землям, рассказывал, как он сам было спознался с нечистым при отыскании клада. Легко было отличить, что из всех гостей Бывалый был только один человек в трезвом состоянии, судя по его молчанию и внимательности, с которою он слушал описание Кишкиным заморских обычаев; но при рассказе последнего об отыскании клада на лице его явилась какая-то улыбка презрения. Когда же Кишкин перешел к рассказу о том, как ему едва не дался клад, ускользнувший потому только, что он не успел зачураться от нечистых духов, которые налегли на него и которых присутствие он чувствовал, хотя лежал на земле с закрытыми глазами, то Бывалый, казалось, совершенно вышел из себя. Он стукнул кулаком по столу так сильно, что пустые склянки, стоявшие на нем, издали какие-то плачевные звуки, и, обращаясь к окружавшим его, сказал полупрезрительным-полунасмешливым голосом:

– Слушаю я вас, братцы, да дивлюсь, что вы раскудахтались о том, о чем бы другая баба ребятишкам постыдилась сказать! Велико дело, что удалось одному из вас увидеть колдуна, другому поговорить с ним, а тебе, Никита Романыч, только с закрытыми глазами почуять нечистую силу. Было время, да прошло, когда ходил и я за кладом, и силу преисподнюю видел, да не по твоему, а вот так, примером сказать, как тебя вижу теперь, лицом к лицу, только с рогами да с хвостиком, а схороненное-то искал с разрыв-травой, голубчики!

– С разрыв-травой! – раздались голоса гостей. – Ну, брат, дока. Расскажи, Кирилл Назарыч, коли милость будет, как это было?

Разрыв-трава была, по понятию наших предков, самую заповедною из всего чародейственного их травника. Одни только знахари и люди, посвятившие себя чернокнижию, владели тайною найти и сорвать ее. Поэтому неудивительно, что все, прижимаясь с каким-то суеверным страхом друг к другу, просили Бывалого рассказать о своих похождениях. Особенно настаивал почтенный дьяк Курицын, искавший, по природной своей алчности, различных средств к обогащению и даже сам пробовавший заняться кладоисканием. Но как клады не хотели ему даваться в руки, то он желал услышать от опытного человека о средствах к их открытию.

– Почему не рассказать, – отвечал Бывалый, – для милого дружка и сережка из ушка, а рассказом поделиться – себя не убудет. Ну, так слушайте же.

Все собеседники с напряженным вниманием придвинулись к рассказчику, и Бывалый, осушив большую чарку наливки и громко крикнув, как бы приглашая всех к вниманию, начал:

– Известно вам всем, что сподобил меня Бог быть в Святой земле и поклониться чудотворному Его гробу; был я и на Афонской горе, и в Царьграде, занятом нечистыми агарянами. Не буду говорить о притеснениях и истязаниях, которые получил я в моем десятилетнем странствовании по свету от нечестивых народов; не о том теперь речь – расскажу вам о кладе. Обходя святые места близ Иерусалима, услышал я, что в одной пещере, на берегу Иордана, спасается пустынный, прославлявшийся святою своею жизнью, который пришел туда неведомо из каких стран и живет в посте и молитве более тридцати лет, питаюсь только хлебом и кореньями. Вот и вздумалось мне перед отправлением на родину взять от него благословение: узнав дорогу в пещеру, отправился я раз туда утром перед восходом солнца, чтобы застать пустытника в месте его спасения, ибо мне сказывали, что не в молитвенное время ходит он по полям собирать целебные травы, которыми лечит всех приходящих к нему больных и недужных. Но, не доходя еще полуверсты до пещеры, я завидел лежавшего на земле старика в черной простой рясе, опоясанного веревкой, и, подойдя поближе, заметил по привязанной на боку корзинке с зельями и валявшейся возле лопате, что это был тот самый пустынножитель, к которому шел я. Видно, его схватил на дороге какой-нибудь злой недуг, потому что он лежал почти без движения, и только белая пена, сочившаяся изо рта, и легкие вздохи доказывали, что он еще был жив. Радуюсь, что привел Бог сделать доброе дело, я сейчас же снял с него корзинку и, выбросив из нее коренья, побежал зачерпнуть воды из ближнего источника. Принеся воду, я вспрыснул ею лицо старика и влил ему несколько капель в рот, а когда он немного очнулся, то взвалил его к себе на плечи и, донеся до пещеры, положил его на каменную скамью, где он всегда спал. Тут только старик почувствовался и, еще не открывая глаз, прошептал какую-то молитву. Постояв возле больного и видя, что он совсем опаматовался, я наклонил голову и сказал ему по-русски: «Благослови меня, святой отец, в путь дальний!..» Услышав слова мои, старик вдруг встрепенулся и, к великому моему удивлению, подняв к небу глаза, вскрикнул тоже по-русски: «Боже милостивый! Я только помыслил просить тебя, а уже ты и исполнил мою молитву; грешник к тебе на шаг, а ты к нему на два». Потом, обняв меня дрожащими руками, произнес: «Брат мой! Из слов твоих узнал я, что ты русский, узнай же и во мне своего одноземца; видно, Господь правосудный простил блудного сына, если исполнил его предсмертную молитву: чувствуя, что настает конец моей жизни, прибегнул я к нему с просьбою, чтобы послал он мне человека выслушать мою предсмертную исповедь, и вот он привел ко мне тебя, благодарю Его Всеблагого!..» Тут старик снова впал в беспамятство, и опять белая пена показалась на губах его. Очнувшись чрез несколько времени от влитого ему мною в рот виноградного вина, которое нашел я возле него в чашке, он подозвал меня рукою к себе и произнес тихим голосом:

– Подойди ко мне, брат мой, и услышь исповедь тяжкого грешника, которому нет подобного ни в сем свете, ни в будущем; долго спасаюсь я здесь, удаленный от людей, пришел из Руси, чтобы вымолить себе прощение от Бога грехам моим, здесь, на земле, освященной стопами Спасителя мира. Знай, что я родом из Рязани и был сыном богобоязненного сотника, но буйная молодость погубила меня. Был я один сын у отца и после смерти его остался один, в ранних годах, наследником. Сделавшись наибольшим и не имев никого, кто бы мог удержать меня от худых поступков, свел я дружбу с сорвиголовами, с такою же вольницею, как сам, и вышел из них первый. Не было такого дела, на которое бы я не пустился очертя голову: девушку ли честную соблазнить, жену ли увести от мужа – мне было нипочем. Все с рук сходило! Только как раз увидел я в церкви у заутрени одну красавицу-девицу, так с того же времени бросил все; и одна лишь мысль осталась в голове – завладеть ею. Однако это было не так легко. Виденная мною красавица была единственная дочь нашего воеводы, боярина царского Хлопова, которую достать было за каменными стенами нелегко, а свататься за дочь воеводы сыну стрелецкого сотника и полоумному не пришло бы в голову. Напала на меня кручина, словно болезнь какая; наскучило молодечество, и я начал обегать своих прежних товарищей. Только они от меня не отставали и, собравшись один раз все вместе, потребовали, чтобы я рассказал им мою кру-

чину. Долго я отговаривался, наконец поведал им свою задушевную тайну, что не могу жить без боярской дочери. Сорванцы не много думали и тут же решились помочь мне увезти ее. Вспыхнула во мне молодая кровь, и бросился я в радости обнимать всех за дорогой совет и помощь. По долгому совещанию уговорились мы подкараулить, когда боярышня выйдет со своей нянькой и санными девушками в рощу возле города, куда она часто хаживала, и увезти ее оттуда в небольшой хутор, который достался мне в наследство после отца, верстах в пятидесяти от города. Сказано – сделано! Узнав раз, что боярышня собиралась идти в рощу, я запасся повозкой с добрыми лошадьми и дал знать моим товарищам. Мы попрятались в кустах, подсторожили голубку, и, несмотря на ее сопротивление, через час я уже несся по дороге на хутор со своей возлюбленной. Лошади летели стрелой, и я уже был верстах в десяти от своей деревушки, когда боярышня, завидев ехавшую к нам навстречу толпу всадников, закричала о помощи. Заслышав ее голос, конники разом наскочили на меня: одна половина бросилась на лошадей моих и остановила их, а другая схватила меня за полы и связала кушаками. Между конниками был сам боярин Хлопов, отец моей возлюбленной, возвращавшийся с холопами из деревни от своего родственника. Не долго думали с молодцом, завязали мне рот полотенцем, привезли назад в Рязань и посадили в глубокий тайник в городской стене за крепкую стражу. Здесь, видно, бы и сгнить мне, только и тут меня выручила буйная молодость. Просидев с месяц в тайнике, тщетно раздумывая о спасении, я наконец изобрел средство: убил своего тюремщика, приносившего мне хлеб и воду, и, перерядившись в его платье, вышел, не узнанный стражею, из темницы! Только куда было деваться от воеводы, который бы нашел меня на дне моря-океана, не только в его городе. И вот я выбрался тайком в дремучие леса рязанские.

Погубив свою молодость, сделавшись раз убийцею, пошел я и далее и попал в шайку разбойничью. Замолкла совесть, пробудилась во мне прежняя отвага, принялся снова за свои буйства. Только уж не увозил женщин и девушек, а похищал их на большой дороге, убивая с товарищами их отцов и мужей, и овладевал их имуществом. Так, переходя из одной шайки в другую, попал я, наконец, к знаменитому Хлопке-Косолапу, атаману разбойников.

Слышал ты, чай, не от отца своего, так от старых людей, какое наказание послал Бог на царство русское перед нашествием еретика Гришки Отрепьева? Знаменья и земные, и небесные предвещали горе, которое постигло вскоре всю святую Русь. На небе вспыхивало по две луны и по два солнца, а по городам рыскали невиданные прежде звери и пожирали людей и друг друга. От бурь и вихрей падали колокольни, в пустых же местах вставали по ночам столбы огненные; а как к этому еще настал повсеместный голод, то началось всеобщее бедствие: народ, словно снопы, падал в Москве каждый день тысячами; о хлебе уж не думали, питались только травой, тухлым лошадиным мясом и всякими нечистотами. Люди пожирали друг друга, мясо человеческое продавали в пирогах по рынкам. Матери прятали от отцов детей своих, чтобы не поделиться с ними и сглотать потихоньку трупы своих младенцев. Посягали сын на отца, раб на господина, и живые задыхались от смраду умерших и непохороненных...

В это-то время вокруг Москвы, по лесам и притонам рассыпались, как саранча, толпы разбойников. Не было дороги ни туда, ни оттуда! Нельзя было ни хлеба провезти, ни самим целым уехать. Между ними наша шайка, под начальством Хлопки, была и больше всех, и страшнее своим неистовством.

Поселились мы возле самой Москвы и грабили, и убивали всех без разбору: чернеца ли, боярина ли, гонца ли царского – пощады не было! Удастся полонить на дороге семью какую, старого посадим на цепь в сырой погреб до выкупа, красных девушек разберем себе на потеху, а ребят малых схватим за ноги, да головой об дерево!.. Вот, как начали преследовать нас царские воины, стал искать Хлопка крепкого места, в котором бы он мог запираяться и при нужде отсидеться за стеною. После разных поисков донесли ему, что под Москвой, в одном месте, в дремучем лесу, нашли за высокой дубовой стеною какую-то обитель с большим домом и часовнею. Добыл Хлопка языка и узнал, что тут жил какой-то боярин, скрывшийся от поис-

ков царя Бориса Федоровича Годунова, царствовавшего тогда на Руси. Призадумался Хлопка, узнав, что при боярине было человек полсотни здоровых холопей, со всяким разным оружием, и вздумал употребить хитрость: собрал всю свою ватагу до единого человека и, распорядившись, как действовать, разместил на всех по лесу кругом обители под началом своего главного есаула. Сам же нарядился нищим и пришел к маленькой калитке, бывшей в стене, просить Христа ради позволения переночевать, а есаул, по прозванию Чертов Ус, велел нам быть наготове возле самых стен и дожидаться его знака, чтобы вдруг броситься со всех сторон в обитель.

Как теперь помню я, было это через неделю после Иванова дня, в самое полнолуние; ночь была не очень темная, но такой дул ветер, что мы, постукивая зубами, жаловались друг другу на нестерпимый холод. «Погодите, – сказал со смехом Чертов Ус, услышав слова наши, – скоро так нагреетесь, что все снимете с себя до рубашки». Не успел он это выговорить, как вдруг огненный язык показался над обителью за оградой, и в то же мгновение пламя, раздуваемое ветром, обхватило все строение, ибо Хлопка, дождавшись, как все уснули, поджег хоромину, в которой был положен на ночь. Люди, как муравьи, начали выползать из пламени; через минуту явился и сам Хлопка. «Ко мне», – закричал он страшным голосом, и мы, как вороны, бросившись на добычу; начали резать, словно стадо баранов, безоружных обитателей. Не осталось в живых ни одного: кто не сгорел в пламени, тот погиб под нашими ножами, и в ту же ночь мы уже были полными хозяевами всей обители, а на следующее утро рыли на месте пожарища землянки для своего жительствова.

Не долго мы пробыли в новых своих владениях, но много совершили грабежей в бывшее тогда смутное время: часто отправляясь на ночь на большую дорогу, мы привозили на другое утро целые воза с серебряной посудой, с казною купецкою или церковною, мешки с драгоценными камнями, с жемчужными убрусами с образов или украшениями жен боярских. Из всех добываемых сокровищ Хлопка выделял нам половину, а другую оставлял у себя и скрывал свои драгоценности потаенно от всех, ибо мы, часто стоя на карауле возле его землянки, ничем не отличавшейся от наших, не видали в ней ничего, кроме пустых стен да сырого земляного полу.

В одну ночь, это было ровно через год после нашего поселения, немогли заснуть в нашей землянке, вырытой недалеко от часовни и стоявшей шагах в ста от жилища Хлопки, я вышел подышать на воздух. На небе не было ни одной звездочки, и кругом царствовала совершенная тишина. Вдруг я услышал шелест шагов, и вслед за этим свет от фонаря блеснул по дороге, шедшей мимо моей землянки к часовне. Любопытствуя знать, что это были за полуночники, я притаился за кустом терновника, росшего возле дверей моей землянки, и устремил глаза на дорогу. Свет делался яснее и яснее, и вскоре я мог различить трех человек, шедших к часовне: двое из них были Хлопка и Чертов Ус, а третий – неизвестный мне, который дня за два перед тем приведен был моими товарищами с большой дороги. Обыкновенно, ограбив какой-нибудь обоз без атамана, мы убивали всех на месте, за исключением одного или двух человек, которых приводили к Хлопке для допроса. Выпытав от приведенных, не было ли об атамане поисков, и получа другие, нужные ему сведения, Хлопка тотчас же вешал допрошенных на суке, и тем прекращалась вся расправа. Но из приведенных за день двух человек он велел, к удивлению нашему, повесить только одного, а другого оставил у себя в землянке, приставив только к нему стражу. Желая разгадать, к чему Хлопка оставил этого человека, я тихонько пошел в тени, прячась за деревья, и, таким образом пройдя за ними сажень десять за часовню, в рощу, оставился в стороне, никем не замеченный. Тут Хлопка, показав на хворост, наваленный перед ним в большой куче, сказал неизвестному человеку:

– Ну, молодец, вот здесь лежат наши сокровища, и если ты колдун, как рассказываешь про себя, то заговори их так, чтобы, кроме нас, не мог никто взять лежащее тут: ни друг, ни недруг, и отведи глаза всякому, кто только подойдет сюда.

– Обещаетесь ли вы не вешать меня, как моего товарища? И я заговорю ваши сокровища так, что ни одна живая душа не увидит их, хоть будет смотреть во все глаза, – сказал незнакомец, низенького роста мужик, трясясь как в лихорадке.

– Ну, обещаемся, – отвечали в один голос атаман и Чертов Ус.

– Нет, поклянитесь Господом Богом, – прервал мужик.

– Ну, вот те Христос! – отвечал Хлопка.

– Ладно, – сказал мужик. – Раскройте же теперь ваши сокровища и сломите мне ивовый прутик с двумя сучьями.

Хлопка разрыл кучу хвороста, и в земле показался небольшой подвал, грубо сложенный из неотесанных камней. Атаман вынул сверху несколько камней, и при свете фонаря из подвала блеснул, словно радуга, цветной луч от драгоценных вещей и золота, лежавшего грудой внутри. Между тем Чертов Ус сыскал ивовый прутик о двух сучьях и подал его мужику.

Взяв прутик, мужик обошел с ним три раза вокруг подвала и после всякого круга, подняв над головой прутик, шептал что-то про себя, потом махнул им три раза левой рукой, наотмашь, по всему подвалу и объявил, что заклинание кончено.

– Так теперь ни одна живая душа не узнает о кладе? – спросил радостно Хлопка.

– Ни живая, ни мертвая, – отвечал мужик, – сказал – кончено, так кончено.

– Ну и с тобой кончено, – вскричал Хлопка и, выхватив из-за пазухи нож, ударил им в бок незнакомца, который, как сноп, повалился мертвый на землю. – Ты, молодец, выговорил, чтобы тебя только не повесили, а об ноже не помянул, – сказал Хлопка со смехом, толкнув мертвеца. – Вот тебе и пожива. Небось, дураки мы тебе дались! От чужого глаза заговорил, так надобно, чтобы и твой настороже не остался.

Вложив по-старому камни в подвал и насыпав наверх кучу хвороста, Хлопка с есаулом отнесли мертвое тело дальше от подвала и, потушив фонарь, возвратились в свои землянки.

Узнав таким образом место, где были спрятаны бесчисленные драгоценности, награбленные нами и зарытые Хлопкой, я задумал во время отъезда куда-нибудь атамана с есаулом украсть их и скрыться из шайки; но не прошло недели, как судьба решила, чтобы мы все оставили свои жилища. Воевода царский, Басманов, проведая тайно о нашем притоне, нагрянул на нас врасплох с многочисленной ратью, и хотя сам умер на месте от ножей наших, но зато и его стрельцы перерезали почти начисто всю нашу шайку. Сначала мы дрались до остервенения, но когда Хлопка умер в наших глазах, изнемогши от ран, тогда и мы побросали оружие. Все товарищи мои погибли на месте или отдались в плен с тяжкими ранами, только я с несколькими удалцами спасся от смерти и убежал в Украину. Там, скитаясь по лесам, зашел я раз в пещеру схимника, и тут-то угрызения совести и советы святого отшельника обратили меня на путь истины: я дал себе обет идти в Иерусалим и земными страданиями искупить грехи своей прошедшей жизни. Вот здесь поселился я тридцать лет тому назад, чтобы постом и молитвою загладить прегрешения. Тебе, брат мой, на предсмертном одре, делаю я завещание: внимай мне! Если ты хочешь сотворить великое благое дело, то иди на свою родину, в святой град Москву, найди и сокровища, о которых я тебе поведал и которые должны быть сохраненными и по сие время, и достань их, выстрой на них церковь в упокой души моей и в отпущение твоих грехов. – Тут пустынный рассказал подробно приметы, по которым мне следовало отыскать сокровище, и, прочитав по себе отходную молитву, умер в глазах моих.

– И ты знаешь это место? – спросил с недоверчивостью Курицын Бывалого, смотря на него раскаленными, как огонь, глазами.

– Знаю, – отвечал Бывалый, – и хоть сейчас же укажу его.

– Где же, где оно? – вскричали все собеседники в один голос, кроме Курицына, который молчал, но казалось, готов был пронзить глазами насквозь сердце рассказчика, чтобы вывести от него тайну.

– Где? – повторил Бывалый с усмешкой, прищуря глаза? – Много будете знать, скоро состаритесь, честная братия.

– По крайней мере, пробовал ли ты сам отыскивать клад? – спросил Курицын с лихорадочной дрожью.

– А вот это-то и хочу я рассказать вам, – отвечал Бывалый.

С величайшим любопытством и вместе со страхом, теснясь друг к другу, как стадо овец, приготовились собеседники слушать продолжение рассказа, и Бывалый, посмотрев на всех лукавыми глазами, продолжал:

– Воротясь в Москву, я тотчас начал отыскивать по приметам, рассказанным мне стариком, то место, где был притон Хлопки с его шайкою, и только пройдя целое лето на двадцать верст кругом Москвы, удалось мне наконец с большим трудом найти его: описанная пустынным часовня, подле которой хранился клад, хотя вполнину разрушившаяся, стояла на месте, а стены почти уже не было заметно, и только там и сям торчавшие стойки показывали ее прежнее положение, на месте же землянок Хлопкиной шайки было разбросано несколько лачуг, в которых жили какие-то бедные переселенцы из Новгорода. Поживя у них с неделю и сведя знакомство, я старался вывесть тайно, не знают ли они чего о кладе и не отыскивали ли кто его, но я убедился, что о существовании этого сокровища никто из них не подозревал, и только рассказывали мне, что всякое лето в одно и то же время, ночью в полнолуние, полуразрушенная часовня вдруг освещается и из маленьких окон ее начинают раздаваться какие-то жалобные завывания. Никто не смел подойти, чтобы взглянуть, что там происходило, и только однажды выискался смельчак, который решился забраться с вечера в ближайший лесок и дожидаться полуночи. Но на другое утро его нашли без памяти. Придя в себя, он рассказывал, что в самую полночь вдруг раздалось погребальное пение, и со всех сторон из лесу вышли мертвецы в белых саванах, со свечами в руках и тихими шагами отправились к дверям часовни. Только один из них не пошел в часовню, а, взглянув на небо и вскричав что-то громким голосом, от которого у смельчака застыла кровь в жилах, возвратился в рощу. При свете луны видно было, что у мертвеца был воткнут в боку широкий нож. Больше этого смельчак уже ничего не мог рассмотреть и без памяти грянулся на землю. Надобно думать, что мертвецы собирались сами по себе служить панихиду всякий год в ту ночь, когда Хлопка перерезал всех в обители, а возвратившийся в рощу был колдун, умерщвленный над кладом... На другой год в Иванов день достал я плакуна, заготовил разрыв-траву и, выучив твердо-натвердо все заклинания, которые надобно произнести при открытии клада, отправился за ним в следующее затем полнолуние, ибо отговаривать клады нужно в то же время, когда они были заговорены, а без этого никакая ворожба не подействует. Скоро нашел я место, где хранилось сокровище.

– И ты ничего не боялся? – прервал Курицын, щелкая от страха зубами.

– Чего мне бояться, – отвечал Бывалый, – у меня был ладан в кармане, а ладана, к слову сказать, черти боятся так же, как тебя, господин дьяк, красные девушки.

Гости и хозяин засмеялись, а Курицын только скорчил рожу, не смея вступать в состязание с человеком, который с такою храбростью шел на нечистого. Бывалый, наградив себя улыбкою за шутку над Курицыным, продолжал:

– Вот, взяв с собой разрыв-траву, ладан и заступ, отправился я ночью к часовне, выговорил, в самую полночь, заклинания и, отсчитав сколько нужно шагов от часовни к роще, бросил разрыв-траву вверх. Засветлела она, сердечная, как звездочка, и закружилась по воздуху, потом отлетела немного в сторону и, спустясь над землею, потухла. Я принялся копать тут заступом землю. С полчаса усердно работал я, не сводя рук и не оглядываясь ни в какую сторону, наконец заступ мой ударился обо что-то твердое, и я при свете месяца увидел, что изпод земли показался подвал, где хранились сокровища... Вдруг позади меня раздался громкий голос: «Кто здесь?»

– Эй, кто здесь? – в то же время грубо крикнул кто-то с улицы, близ окна хоромины Ивана Степаныча, где сидели гости, и вслед за этим несколько ударов посыпалось в ставню.

Собеседники, настроенные к испугу рассказом, услыша этот неожиданный возглас, повалились со страху со скамеек, кроме Бывалого и жильца Кишкина, сидевшего под образами. Но побледневшее лицо почтенного путешественника показывало, что он остался в прежнем положении не по своему желанию, а единственно по необходимости, ибо сидевшие против него в испуге придвинули стол так близко к тучному чреву Никиты Романыча, что он вдруг закричал, как будто бы его ужалила змея.

Что же относится до дьяка Курицына, то он залез под самый стол и, схватясь обеими руками за ножку, шептал, закрыв глаза от испуга: «Хоть сам Сатана приходи, а меня с этого места без стола не стащишь».

– Что вы не слышите, что ли? Выйди кто-нибудь сюда, – раздался прежний голос, а хозяин, рассудя, что это говорит живой человек, трепетными стопами вышел на улицу.

Возле окна Ивана Степаныча стоял огневщик и два решеточных приказчика, ходившие дозором и смотревшие, чтобы в позднее время не было огней в городе.

– А что это у тебя в доме за пир такой? – сказал огневщик, увидя хозяина. – Почему до сих пор огонь не погашен?

– Именины свои справляю, милостивый господин, – отвечал хозяин, – собралось человек с десяток приятелей.

– Ага, именины! – вскричал объездчик. – Ну поздравляю, как тебя... Кирилл, Петр?..

– Иван Степанов, батюшка.

– Поздравляю тебя, Иван Степаныч. Эх, хорошо бы теперь выпить за твое здоровье чару вина зелена. Мы что-то больно продрогли, ходя дозором.

– Сейчас, милостивцы, – торопливо отвечал хозяин, побежав во двор, и тотчас же возвратился с фляжкой и чаркою.

– Эге, какая у тебя отменная водка-то, – сказал огневщик, выпив чарку и передавая ее приказчикам.

– Воистину так, – подтвердили приказчики, опоражнивая каждый свою долю.

– Кушайте на здоровье, – отвечал хозяин с поклоном.

– Ну, такой водки не грех и еще чару пропустить, – сказал огневщик, приняв снова флягу и тотчас же исполняя свое предположение.

Подчиненные не замедлили последовать примеру своего начальника.

– Без троицы дом не строится, Егор Трофимыч! – промолвил жалобно один из решеточных приказчиков, посматривая умильно на флягу и огневщика.

– Ну ты, бездонная бочка! Чести не знаешь? – вскричал сердито огневщик и потом, будто размышляя, прибавил: – А что, ведь дурак-то правду говорит? Дай-ка еще, хозяин, приложимся.

И, соверша тройственное возлияние, он передал пустую флягу в руки Козлова.

Поблагодаря за ласку именинника, огневщик отправился в сопровождении помощников отыскивать новые огни у жителей.

– Что ты так, Иван Степаныч, за этой земщиной ухаживаешь? – спросил Бывалый возвратившегося в хоромину хозяина.

– Ничего, батюшка, – отвечал Козлов, – честь лучше бесчестья, а худой мир лучше доброй ссоры. Только они больно испугали нас, проклятые! И ведь надо же им, как на грех, закричать в то время, когда кто-то опросил тебя, когда ты только дорылся до клада! Уж не сам ли это колдун был, родимый?

– Какой колдун, – отвечал Бывалый, – это был просто сторож из часовни, который, услыша стук заступа, думал, что кто-нибудь из деревушки роет без его спросу могилу для покойника, так как недалеко от часовни в стороне было и кладбище. Услышав оклик, я сейчас

бросился в густую траву, ожидая ежеминутно с ужасом, что сторож увидит разрытую мною яму; но он, постояв шагах в десяти от меня и подумав, видно, что ему померещилось, возвратился спокойно в часовню. Едва только он скрылся, как я тотчас принялся за работу; но верхний свод подвала заложен был так крепко и луна светила так ярко, что я не имел возможности достать клада в ту ночь, не возбудив подозрения, а как ночь прошла, то волей-неволей нужно было отложить до другого года, и я к утру успел только снова забросать землю по-старому. На следующий год принял меня к себе святой патриарх Иосиф для участия в исправлении кормчей книги, и я послан был в Киев и Владимир собирать по монастырям древнейшие рукописи; после того был в польской земле, и так шел год за годом до настоящего времени.

– Неужели и теперь там лежит клад? – прошептал дьяк на ухо Бывалому.

– А куда же бы ему деваться? – отвечал так же тихо Бывалый.

– Ведь я сказывал, что он был при закладке заговорен, так без отговору его никто и не сыщет, а кроме меня вряд ли кто в Москве знает, как его надо вынуть. Однако, – произнес он громко, – пора и хозяину покой дать. Прощенья просим, батюшка Иван Степаныч; благодарим за хлеб за соль.

Бывалый взял свою шапку и, простясь с хозяином и гостями, вышел из хоромины, брося с улыбкою косою взгляд на Курицына. Вслед за ним разбрелись и прочие гости. Выйдя на улицы и отойдя несколько шагов от дома Ивана Степаныча, каждый из них невольно оглянулся, чтобы посмотреть, не гонится ли по пятам мертвец с ножом в боку... Но все было тихо, и только собаки заунывным воем голосили по улицам.

## Глава пятая

Возле Москвы находилась иноземная слобода, место жительства приезжавших в это время в Москву иностранцев, называвшаяся по весьма странному случаю Кукуем.

Жены и дети иностранцев, поселившихся здесь при образовании слободы, в царствование Иоанна Васильевича, замечая что-нибудь особенное в проходивших возле их окон русских, кричали обыкновенно друг другу: «Кукке, кукке гир!»<sup>3</sup> Русские, со своей стороны, слыша от немцев весьма часто повторяемым это слово, затвердили его и таким образом прозвали всю слободу Кукуем. Иноземная слобода составляла как будто особенный, малый город, довольно чистенько застроенный деревянными зданиями, с двумя евангелическими и одною кальвинскою церквами. Житель московский, выйдя из Покровских ворот и пройдя расстояние двух ружейных выстрелов, переселялся вдруг как бы в чужую страну: на улицах вместо толстых осанистых граждан в длинных охабнях и высоких шапках встречались ему живые, веселые лица иностранцев в коротеньких кафтанах, с легонькими беретами на головах. Из окон выглядывали женские головки, которые вместо того, чтобы прятаться, когда подходили к дому, напротив, выставлялись еще гораздо более, оглядывая с любопытством каждого прохожего. По всем улицам раздавались немецкие, английские, голландские слова, и только изредка слышалась русская речь какого-нибудь купца гостинной или суконной сотни, зашедшего в слободу уговориться о цене товара с одним из иностранцев; но и тот старался войти поскорее, боясь, чтобы как-нибудь не застала его ночь и все немцы, превратясь в оборотней, не съели бы его заживо... Словом, здесь был особый мир, особые люди...

В одной из улиц этой слободы, недалеко от кальвинской церкви, стоял небольшой деревянный дом, который состоял из двух половин, разделявшихся небольшими сенями. В задней части, выдавшейся окнами в сад, помещалась спальня хозяина, а вся передняя состояла из одной большой, светлой комнаты. Возле входной стены ее стоял огромный шкаф, окрашенный зеленою краскою, с выдвигаемыми ящиками, на которых виднелись латинские надписи; у противоположной стены поставлен был длинный стол, покрытый толстыми книгами в кожаных переплетах и различными анатомическими инструментами. Возле окон красовалась скамья с кожаной подушкой и спинкой вроде дивана, над которой висел на стене музыкальный инструмент, сходный с гитарой. Передний угол комнаты занят был каким-то предметом, около сажени вышиною, укрепленным внизу, на круглой стойке, и закрытым со всех сторон шелковым зеленым пологом. Трудно было бы угадать, что такое заключалось под ним, если бы из-под отпахнувшейся несколько снизу полы не выставлялась длинная костяная нога, доказывавшая, что тут стоял человеческий скелет... Все показывало, что здесь пахнет не русским духом! Это было жилище голландского аптекаря Иоганна Пфейфера, с которым мы познакомили читателя в начале нашего рассказа.

Жители иноземной слободы давно уже все покоились глубоким сном, но в описанной выше комнате через закрытые ставни светился еще огонек. Хозяин, несмотря на позднюю пору, не мог расстаться со своим другом Брандтом, пришедшим к нему часа за три назад, и хотя они перебрали по зернышку всю старину, но предмет для разговоров, казалось, не истощался. Наконец Брандт встал, чтобы распрощаться.

– Да погоди же, приятель, – вскричал Пфейфер, – после такой долгой разлуки можно уделить своему старому товарищу лишний часок. Не хочешь ли, я попотчую фляжкой старого кипрского, прямо с царского погреба?

– Благодарю тебя, Иоганн, право и того довольно, что мы уже выпили. Тебя, я вижу, так же трудно насытить, как данаидину бочку, а в меня и воронкой не много вольешь.

---

<sup>3</sup> Смотри, смотри сюда!

– Хорошо, надобно же, наконец, чем-нибудь потешить тебя, – сказал Пфейфер, с осторожностью отворив дверь в сени и посмотрев, нет ли кого за нею. После этого он подошел к шкафу и что-то вынул из него.

– Что это у тебя за талисман запрятан там? – спросил Брандт, с любопытством взглянув на вынутое Пфейфером. – Ба, да это простая трубка, – сказал он со смехом.

– Да, это не больше как трубка, – отвечал аптекарь, – только в этой проклятой земле, – продолжал он, – надобно держаться одной рукой за чубук, а другой за нос, чтобы не лишиться вдруг того и другого! У кого находят здесь трубку, тот наказывается безделкой: ему отрезают нос, так же скоро, как я снимаю у больного какую-нибудь бородавку...

– Ай, ай, – вскричал корабельный мастер, – да что же тебе за охота рисковать так своим носом?

– Эге, друг, – отвечал Пфейфер, – то-то и вкусно, чего нельзя делать без оглядки. Если бы первым людям не было запрещено вкушать древо познания, может быть, наша прародительница и не полюбопытствовала узнать вкус заветного яблока. Такова уж слабость человека! Впрочем, сказать мимоходом, удивительный народ и русские: они позволяют при себе целовать в губки своих жен и дочерей и готовы распороть брюхо тому, кто вздумает пожать им ручку; без всякого прекословия соглашаются на строение в своем государстве иноверческих церквей и за одну трубку табаку сделают лицо гладким как *sucurbita pepo*!

– Признаюсь, я и сам успел заметить в поступках их чрезвычайно много противоположностей, – сказал Брандт, закуривая трубку. – Не далее недели назад, когда нас привезли только в Москву, боярин Афанасий Лаврентьич Ордин-Нащокин, которым мы были вызваны сюда из отечества, пригласил меня как старшего мастера к себе на обеденный стол. Как в этот день находились еще у него несколько других бояр, его приятелей, то я заключил, что обед будет роскошнее обыкновенного. И в самом деле, блюд было подано на стол великое множество; но все они были так дурно приготовлены и так много приправлены маслом и луком, что я с непривычки едва пропустил несколько кусков в горло. Всего удивительнее показалось мне смешение посуды на столе боярском: вместе с серебряными и даже золотыми кубками, украшенными камнями, подавались оловянные миски и деревянные кружки, заменявшие тарелки. Самые ложки сделаны были из дерева, хотя передний угол палаты будто горел от драгоценных риз, которыми были покрыты все иконы. Но, несмотря на эти странности, я встретил здесь так много благоразумных учреждений и в самом народе столько смысленности и ума, что готов сделать о характере русских, вообще, самое выгодное заключение.

– Я согласен с твоим мнением, – отвечал Пфейфер, – и присовокуплю еще, что, несмотря на все невежество москвитов, между ними встречаются такие головы, которые могли бы доставить честь самой образованной нации. Недалеко сказать, я знаю одного молодца, сына простого литейщика, которого готов бы был назвать своим братом: пылок, мечтателен, как житель благословенного юга, пытлив и любознателен, как ученый, посвятивший свою жизнь испытанию природы; и тверд душою, как закаленная сталь! Через год по приезде моем сюда, когда все москвиты боялись встретиться со взором моим, чтобы не получить от этого какую-нибудь немочь, и отбегали, крестясь и отплевываясь при каждом моем слове, он пришел раз ко мне, как к своему другу, с просьбою, чтобы я дал ему ответы на вопросы, которые задал ему собственный его пытливый ум и которых не мог он решить сам собою. И что же? После первого знакомства нашего мы так сошлись с ним, как будто родились под одною кровлею! Забавно было сначала послушать со стороны разговоры наши: я объяснялся с ним по-немецки, примешивая только русские слова, которые знал, он говорил чисто по-русски; но через год после нашего знакомства сведения мои в русском языке почти не прибавились, а он уже понятно объяснялся со мною по-немецки. Слова «еретик», «басурман», которыми чествовали меня почтенные его соотечественники, заставляли его только улыбаться и сожалеть об их невежестве. Часто, едва лишь гасили огни в городе и запирали рогатками улицы, он прокрадывался ко мне; и только

утренняя заря заставляла его нехотя расставаться со мною. И вот такие-то люди обречены на бездействие в этой ледовитой глыбе, которую мы называем Москвией...

Караульный, прошедший с трещоткой по улице, напомнил гостю, что ему уже давно было пора отправиться в свое жилище. Проводя своего друга, Пфейфер запер дверь в сенях и наложил еще одну трубку соблазнительного растения. Растянувшись на лавке и выпуская изо рта огромные клубы дыму, он предался мечтательности. Совершенная тишина, царствовавшая кругом, изредка только прерывалась писком сверчка, расположившегося в щели, или глухим завыванием собак, подававших голоса одна другой в отдалении. Вдруг чьи-то шаги послышались возле окон, кто-то легко перелез с улицы на двор, и вслед за этим тотчас же раздался удар в дверь, который бросил в дрожь Пфейфера. Изумленный этой неожиданностью, тем более что уже было далеко за полночь, аптекарь соскочил в испуге со своего места. Спрятав поспешно трубку и схватив из стола кинжал, он остановился в недоумении посередине комнаты. Воображение его, отягченное несколькими винными парами, живо представило ему все истязания, которым подвергнется он, уличенный дымом запрещенной травы; и Пфейфер, вполне уверенный, что у дверей находится несколько сыщиков, готовых схватить его и вести прямо на пытку, решил, по крайней мере, дорого продать свою свободу. По второму удару он смело подошел к двери и, еще не отворяя ее, спросил, кто были таковы незваные посетители. Вместо ответа раздалось три удара в ладони, и этот, вероятно прежде условленный, знак совершенно успокоил хозяина. Он поспешно отворил дверь и ввел в сени незнакомца.

Человек, пришедший ночью в дом немецкого колдуна, к которому со страхом ходили не только ночью, но и во время дня, был Алексей. Прерывистое дыхание, блистающие глаза и яркий румянец показывали, что он был не в покойном расположении духа.

– Ну, гер Алексис, порядочно ты пугнул меня, – сказал Пфейфер, входя в комнату со своим гостем, – я было подумал, что мне придется ночевать на новой квартире. Э, да и ты что-то не в порядке? Уж не наткнулся ли на решеточного приказчика во время твоего путешествия?

Алексей бросился на скамью и, не отвечая на вопрос хозяина, закрыл лицо обеими руками.

– Э, брат, – вскричал Пфейфер, – да ты, видно, хочешь играть комедию, как у Артемона Сергеича Матвеева! Знаю я тебя, полно притворяться! – И Пфейфер со смехом схватил Алексея за руки, но, заметя, что по лицу его текли слезы, с изумлением отступил от него.

– Кой черт, – вскричал аптекарь, с удивлением смотря на Алексея. – Что ты рыдаешь, как маленький ребенок. Уж не обморочила ли тебя какая-нибудь ведьма с Лысой горы? Право, поживя с вами, скоро начнем верить всем этим глупостям. В самом деле, не болен ли ты? – спросил он серьезно. – Дай-ка мне твою руку.

– Нет, мой друг, – сказал тихо Алексей, покачав головою, – болезнь моя другого рода и не пройдет от твоих лекарств и зелий: она вот здесь, в глубине самого сердца! Можешь ли ты представить ощущения слепого, не видавшего свету с самой минуты своего рождения? И вот он прозрел, вот он увидел вдруг и солнце, освещающее всю природу, и самый мир, разоблаченный перед ним от пелен, которыми до того облечен был в его глазах. Но минута прошла, и человек этот сделался слепцом, каким был прежде: снова покрылись мраком все предметы, и от минутного прозрения его остались только неясные очерки, перемешавшие все его понятия и заставившие его чувствовать еще сильнее свою слепоту.

– Я, не смейся, мой друг, я – этот жалкий слепой!.. Одни называют меня дураком, другие, понисходительнее, только недоумком... Не знаю, такой ли я человек, как другие, или, в самом деле, чего-нибудь недостает у меня против прочих людей, только я живо чувствую, что со мною совершается то, что беден язык мой, чтобы выразить это словами... Еще будучи ребенком, когда дети равных со мною лет, помышляя только о ребяческих играх, лазали по деревьям за птичьими гнездами и дикими яблоками, какие-то странные мечты западали в мою голову. Подняв глаза на небо, я часто стоял в этом положении в каком-то забытии по несколько

часов, а между тем смутные мысли, одна другой смешнее, рождались в моей голове... Что это такое небо, эта голубая чаша, опрокинутая над миром, и как устроено оно? Каким образом держатся эти алмазы, рассыпанные в тверди? Что там, выше и выше?.. Увидав какую-нибудь непонятную для себя вещь, я не отходил от нее до того времени, пока не узнавал ее употребления и устройства. Помню, в каком восторге был от меня отец мой, когда он учил меня чтению и письму: что другим давалось месяцами, то я приобретал часами. И неудивительно, – какая-то невидимая сила влекла меня знать все то, что только было известно другим. Наконец, с возрастом моим, жажда познаний усилилась еще более; не умея объяснить чего своим собственным рассудком, я прибегал к другим, старше себя летами, а они только смеялись надо мною, называя меня юродивым и отсылая к немцам, которые, по их мнению, ведаясь с нечистой силою, знают прошедшее и будущее... Никогда не забуду я, любезный Иоганн, тех дней, когда впервые познакомился с тобою! С какою жадностью слушал я слова твои, разгонявшие мое невежество; с каким нетерпением ожидал после того первой темной ночи, когда можно было тайком прибежать к тебе сюда, слушать твои объяснения о предметах для меня непонятных, они лились многоцелебным бальзамом в мое сердце... Наконец теперь, когда я освободился несколько от предрассудков, когда понял, что вы, иноземцы, умнее нас не потому, что ведаетесь с нечистым духом, но что приобретаете познание учением, когда увидел сам яснее невежество свое и моих братьев, не сделавшись образованнее, – не похож ли я на того слепца, о котором говорил тебе? Слыша о каком-нибудь заморском чуде, я его не почитаю уже, подобно моим соотечественникам, дьявольским наваждением; но и не умею собственным умом объяснить его себе. И что всего ужаснее: зная иногда о нем и слыша совершенно противоположные толкования, не могу передать своих мыслей другим из опасения, чтобы меня не причислили к еретикам, отступникам веры! Не далее как сегодня вечером рассказывал жилец Кишкин в доме у моего крестного отца о чудесах, виденных им в ваших государствах: о бумаге, не горящей в огне; о камне, притягивающем железо, и других дивах, недоступных простому разуму. Я хорошо понимал, что обладание всем этим произошло не вследствие сообщения с нечистой силою, что виденная Кишкиным кривая, не падающая башня может быть выстроена наклонно и без пособия лукавого. Но как и почему? Вот вопросы, которые убивают меня, потому что я сам не могу разрешить их, хотя отдал бы годы жизни своей, чтобы узнать все доступное уму смертного...

И Алексей снова залился слезами.

Пфейфер в безмолвии смотрел на своего друга и, когда молодой человек окончил восторженную речь, все еще, казалось, слушал его. Наконец он вдруг подбежал к юноше и, крепко сжав его в своих объятиях, вскричал:

– О, Алексей, зачем судьба назначила тебе жить между этим полудиким народом; зачем ты не чадо прекрасных стран наших? Каким бы ты был, может быть, великим поэтом, ученым, художником!..

И друзья снова горячо обняли один другого.

– Знаешь ли, какое лекарство пропишу я тебе, любезный Алексей? – сказал Пфейфер с улыбкою, когда они через несколько времени успокоились от внутреннего волнения. – Ты жалуешься, что не можешь понимать развернутую книгу природы, что для тебя мертвы эти буквы, которыми начертаны законы для нашего существования... Средство простое: тебе стоит только найти подругу, которая бы заставила тебя забыть весь наш мир и все другие миры природы, – попросту влюбиться; но влюбиться не так, как это ведется в вашей стране, где жених возлагает все упование на сваху, не видя даже во сне своей невесты и уже бросив на нее первый взор только под венцом, когда соединяется на жизнь и смерть. Нет, влюбиться по-нашему: найти пару глаз, которые бы, с первого взгляда на них, обдали тебя и жаром и холодом; волну волос, которые бы притянули тебя, как магнитом, своею волшебною силою; пурпурный ротик, за поцелуй которого ты не пожалел бы своей жизни... И вот с этой-то подругой, спрося сердце

свое, не сладко ли было бы разделить бремя жизни, пополам и горе, и радость, забыть все в природе, кроме нее...

Пфейфер в жару своей речи не видал, как вспыхнуло лицо Алексея при описании такой любви. Но когда он при конце ее взглянул на молодого человека, с трудом переводившего дыхание, то не мог удержаться, чтобы не воскликнуть:

– Ах, какой же я дурак! Учю тому, чему природа сама научает всякого, у кого только нет куска железа вместо сердца; и хоть я знаю, что здешние девушки, почти лишённые воздуха в своих теремах и светлицах, не видят до замужества света небесного, но знаю и то, что при характере моего друга нельзя и думать, чтобы он влюбился таким же образом, как все кругом его, сплошь и рядом, потому что в его теле обращается кровь, а не клюквенный морс.

– Да, мой бесценный друг, – вскричал Алексей, – ты угадал, что я влюблен, и влюблен до безумия, но ты ошибаешься страшно, если думаешь, что любовь эта гасит во мне все другие чувства. Напротив, она-то, эта небесная искра, запавшая в грудь мою, и вливает в меня мысли об ее первоначальном жилище, заставляет допытываться о тайнах мира надзвездного! Если бы я не любил, может быть, я засох бы, как былинка в поле, уничтожил ее бы, как всякое тление, не спрашивая себя ни о чем, не проникая в тайники души своей... Но теперь, с этим отблеском божественности в сердце, живо чувствую, что я не простое несмысленное животное, исполняющее только одни жизненные потребности, что я создан десницею Всемогущего для другой цели, более возвышенной...

Он умолк и погрузился в задумчивость, так же как и его собеседник. Несколько минут прошло в совершенном безмолвии; наконец Алексей схватил руку Пфейфера и, с чувством пожав ее, промолвил:

– Прости меня, любезный Иоганн, что я ничего не говорил тебе о моей любви до сего времени, но ты будешь смеяться, если я скажу, что и теперь мне, при всей откровенности, нечего передать тебе. Я люблю горячо, неистово; предался любви к предмету моей страсти, когда сам еще не понимал, как называется это чувство, и... и вот уже прошло четыре года, в которые я не мог сказать ей хотя одно слово...

– И есть надежда, что еще столько же времени продолжится твое рыбье молчание, – сказал Пфейфер с усмешкой. – Впрочем, только ты и можешь, – продолжал он, – наслаждаться такого рода любовью. Будь я на твоём месте, то угодливые кумушки, которых не одну сотню можно найти в Москве, несмотря на замки и запоры, давно бы проторили дорожку к моей возлюбленной.

– Подивись, – отвечал Алексей, – что и я решился на это средство и завтрашний день, может быть, услышу голос моей ластовицы... если не умру от ожидания до того времени!

– Желаю, тысячу раз желаю тебе всего лучшего, – сказал Пфейфер, пожав еще раз с чувством руку собравшегося домой Алексея.

Когда юноша скрылся за дверью, Пфейфер подбежал к окну и, прислонясь к стеклу, устремил глаза на маленький домик, находившийся напротив через улицу. Долго смотрел он, не переменив положения, как бы делая над чем-то наблюдения, наконец тихо отошел от окна, прошептав с улыбкою: «Она еще не спит», и с этими словами погасил небольшую стоявшую на столе лампу. В комнате сделалось совершенно темно, так же как и на улице, но это было на минуту. Аптекарь зажег лампаду и, достав из комода венок, сплетенный из трав, повесил его на окошко. Подождав еще немного, Пфейфер схватил свой берет и выбежал на улицу.

## Глава шестая

В небольшом домике, находившемся прямо против жилища аптекаря, жила старушка Эйхлер с дочерью, оставшаяся доживать век в Москве после смерти своего мужа, бывшего царского садовника, выписанного царем Алексеем Михайловичем из Германии для посадки и прививки фруктовых деревьев в царских садах, которые находились в Коломенском и Покровском селах. Получа приглашение ехать в Россию через одного из любских купцов, возвращавшихся из нее, Рудольф Эйхлер сначала было призадумался. Его останавливала не столько неизвестность страны и дальность дороги, сколько маленькая дочь Роза, только что явившаяся на свете, чтобы укрепить десятилетний союз любви между Эйхлером и его супругою. Но пока шло время в переговорах с царскими уполномоченными, протекло около года, а в это время ребенок подрос и укрепился так, что обещал вынести без труда опасность дальней поездки. Благоговясь, Эйхлер пустился в путь и через год уже был любимым садовником царским: прививал в загородных дворцовых садах фруктовые деревья, сеял в Москве овощи для царской кухни и рассаживал заморские травы в аптекарских огородах, разведенных для снабжения двух аптек, бывших тогда в Москве. Разумеется, Шарлота, жена его, была во всем его главною и лучшею помощницею. Часто, бывало, в саду Коломенского дворца, при котором постоянно жил он, в хороший летний день Эйхлер прорабатывал с утра до вечера без усталости, тогда как жена его тут же сортировала семена по коробочкам, а маленькая Роза, набрав васильков и маку, плела возле матери венки и вязала букеты, один другого краше, один другого пестрее. А между тем становилось темно, и возле царского сада раздавалась звонкая русская песня жнецов, возвращавшихся с жатвы, или топот стада, пригнанного с поля. Тогда Эйхлер оставлял заступ, подходил к своей Шарлоте и, поцеловав ее и дочь, говаривал:

– Хорошо, Шарлота, что мы не раздумали ехать сюда; Московия – славная земля!

– Ja, so! – отвечала жена его, торопясь разложить последние семена по коробкам. Таким образом шли день за днем, лето за летом. Царедворцам и знатным людям, которых Эйхлеру случалось видеть, часто в интригах и кознях дни казались годами; наш добрый немец не видал, как и года летели. А между тем, глядь! уж он прожил в Московии пятнадцать лет, и его Роза вышла розой не по одному имени, но и по наружности. Из ребенка она сделалась взрослой девушкой; черненькие глазки ее заискрились ярче прежнего, на груди приподнялись пышные волны, а полные щечки, будто отблеском зари, покрылись ярким румянцем. Словом, Роза была красавица до того, что крестьяне, выдавшие ее через решетку, бегавшею в саду по луговинкам в цветной коротенькой юбочке, стянутой бархатным спенсером, часто останавливались, засматриваясь на нее. И хотя красота, по русскому выражению, должна заключать в себе кровь с молоком, но смугленькая Роза столько нравилась им, что они, прищелкнув языком, говорили друг другу:

– Славная девка и личменна собой, только больно поджариста; видно, немке-то не впрок наша хлеб-соль.

Но если русская хлеб-соль была не впрок для Розы, прелестная талия которой казалась русачкам поджаристой, зато самому Эйхлеру она послужила за себя. Бедняк располнел в течение пятнадцатилетней жизни своей в России до того, что с ним сделался удар, и он неожиданно отправился в дальний вояж, успев только благословить дочь и обнять жену свою...

Горько поплакав над прахом мужа, бедная Шарлота с дочерью перебралась из Коломенского села в иноземную слободу, где поселилась вместе со своими соотечественниками, напротив того дома, который занимал аптекарь Пфейфер. Внезапная смерть мужа подействовала на здоровье старушки Эйхлер, у которой начали часто являться припадочки, пугавшие Розу.

В один вечер, когда Иоганн, проведя день за описанием русской флоры и окончив свои занятия, взялся за лютню, чтобы вспомнить песни своей родины, вдруг отворилась дверь его

комнаты, и на пороге явилась прелестная девушка, какую только когда-либо представляло его пламенное воображение. Русые шелковистые волосы ее, ничем не связанные, лились каскадом по плечам, на глазах блистали слезы, грудь тяжело приподнималась.

Пфейфер не верил глазам своим, почитая явление это за мечту воображения, Он простоял бы до утра без движения, в ожидании, когда исчезнет прелестное это видение, если бы девушка не произнесла едва слышным голосом, с трудом выговаривая слова:

– Мать моя... вдруг... умирает...

Поняв, в чем дело, Иоганн схватил берет свой, и девушка бросила на него взор, исполненный признательности, который заставил встрепенуться молодого человека.

Следуя за Розой (это была она) и пройдя улицы, Пфейфер через несколько минут был уже перед постелью Шарлоты. Она лежала без движения, и только легкое биение пульса доказывало, что она еще существует. Пустить кровь небольшим ланцетом, который аптекарь носил всегда с собою, и привести в чувство больную было для Пфейфера делом четверти часа; но после сильного обморока следовали истерические припадки, и Иоганн, сбегав несколько раз в свой дом за лекарствами, успел едва к утру привести Шарлоту в обыкновенное положение. Но зато, при прощании, молодой человек за труды свои награжден был от прелестной дочери таким признательным взглядом, что в душу его запала грешная мысль пожелать матери еще подобного обморока, чтобы получить такое же вознаграждение...

Очень понятно, что после этого происшествия молодой лекарь не забывал посещать новых знакомых, а Шарлота не прибегала ни к кому, кроме его, за советами в своих болезненных припадках. Старушка полюбила Иоганна, как родного сына, а резвая Роза, с детскою невинностью обнимая мать, готова была бы обнимать и его, если бы мать не сказала ей, что это она может делать только с нею. И Роза повиновалась матери, хотя никак не могла понять, почему она не может броситься на шею к кому бы то ни было, когда ей это приятно.

Пользуясь радушием старушки, Пфейфер являлся к ней почти всякий вечер. Кончив свои занятия в царской аптеке или у себя на дому, он приходил в жилище Шарлоты на отдых, и время невидимо летело в присутствии ее дочери. Часто все уже покоилось кругом в иноземной слободе, и старушка засыпала в больших, мягких креслах, а Пфейфер и Роза, не замечая позднего времени, играли на лютне или раскладывали по листам белой тетради сухие растения красивыми букетами. Часто Иоганн, почувствовав прикосновение к щеке своей локоня резвой Розы, смотревшей через плечо на книгу, оставался несколько минут без движения с сухим цветком в руке, как будто отыскивая место, куда положить, а между тем рука его дрожала, как в лихорадке, и он страшился, чтобы нечаянным движением не разрушить своего восхитительного положения...

Иногда Шарлота с Розой хаживали в Коломенское село, где у них была знакомая немка, жена садовника, заступившего место Эйхлера, и в этом путешествии Пфейфер был непременным их спутником. Если же случалось, что старушка, чувствуя легкую слабость, лежала в постели, что продолжалось иногда по нескольку дней, тогда Пфейфер считал неприличным навещать ее, но зато, в темный вечер, тихонько подходил к ее дому, и резвушка Роза, украдкой скрываясь от матери, выбегала на минуту на крыльцо, и несколько приветливых слов от нее и легкое пожатие руки делало на целый следующий день счастливым молодого человека.

Поводом к тому свиданию между ними служили сигнальные знаки своего изобретения: Иоганн гасил у себя в комнате лампаду и, снова засветя ее, вешал на окошко венки из цветов. После этого он был уверен, что сигнал понят, и, спеша на улицу, уже находил на крыльце прелестную Розу.

В одну ночь Пфейфер был разбужен дьяком, присланным из аптекарского приказа, который объявил ему, что вдруг заболела царица Марья Ильинишна и потому приказ определил, чтобы в царской аптеке впредь до выздоровления ее держали день и ночь по два аптекаря, и

что выбор пал на него с аптекарем Понтаном. Одевшись наскоро, Иоганн поспешил вместе с дьяком в аптеку на очередь.

В это время в Москве были две аптеки, называвшиеся по времени основания старою и новою. Первая из них находилась в Кремле и назначалась собственно для царской фамилии, или, как тогда выражались: «в верховые отпуски».

Войдя в старую аптеку, Пфейфер нашел в ней уже всех в движении, а также и другого сотоварища своего по дежурству, аптекаря Понтана, за работою. Любимый лейб-медик царский, доктор Коллинс, наблюдал сам за составлением лекарства, а один из ближайших бояр ожидал окончания, чтобы отвезти лично на царский двор запечатанное в аптеке лекарство. Всякая микстура, при отпуске из аптеки, пробовалась составлявшим ее аптекарем в глазах боярина, который обязан был со своей стороны сделать то же самое по привозе ее во дворец. Таковы были предосторожности, употреблявшиеся в то время при болезнях особ царского дома.

Довольно редко случалось, чтобы аптеки освещались ночью, ибо отпуск лекарств обыкновенно производился только днем, и потому Пфейфер невольно осмотрелся во все стороны. Действительно, главная комната старой аптеки, вмещавшая в себе медикаменты, заслуживала внимания: стены ее, покрытые зеленой, тонко выделанной голландской кожей, с золотыми узорами, обставлены были полками, на которых блестели флажки и графины из шлифованного хрусталя с крышками и краями, покрытыми густою позолотою. Посреди аптеки возвышался покрытый сукном стол, на котором находились весы, украшенные золоченым орлом, серебряная доска почти в четырнадцать фунтов весом, на которой составлялись пластыри для царской фамилии, и серебряная массивная кружка почти такого же веса, для варения в ней лекарств от гортанных болезней. Все это, освещенное толстыми, высокими восковыми свечами, составляло чрезвычайно эффектное для глаз зрелище.

На столе Понтан готовил лекарство под наблюдением Коллинса, державшего рецепт и громко произносившего, что после чего следовало класть, когда как особый, собственно для того назначенный подъячий записывал в огромной книге наименование каждой составной части лекарства, что производилось при всяком отпуске.

– А, mein Herr Pfeifer! Ви пришлоль, – сказал Коллинс, увидя Иоганна и махнув рукою. – Падить сюда са эта тоска, катофить *Emplastrum matricariae*!

– Позвольте, батюшка, Самуил Иванович, – вскричал подъячий, соскочив с места, ведь он еще только сейчас вошел и не прочитал присяги.

Вслед за этим подъячий, вынув из стола особый столбец и начав читать его, заставил Пфейфера повторять за собою присягу, в коей, между прочим, было сказано: «Государя своего ничем в ястве и в питие не испортити и зелья и коренья лихого ни в чем не давати и никому дати не велети».

– Ну, вот тепер дело на порядке, – сказал подъячий, когда Пфейфер окончил присягу, – и изволь-ка, батюшка, задать ему урок, а я буду записывать. Только говори, пожалуй, пореже; ведь я в первый раз сажусь писать в этой книжице.

И, перевернув лист в рецептурной книге, подъячий приготовился к записке, протянув уху к Коллинсу, чтобы хорошенько расслышать латинские названия.

– *Sagapenaе, rogis-marini*, – начал Коллинс, и Пфейфер отправился доставать с полок произнесенные медиком травы.

– Постойте, – вскричал подъячий, – повторите снова, я что-то не больно расслышал вашу латынь-то.

– *Sagapenaе, rogis-marini*, – повторил Коллинс.

– С Аграфеной борись Марина, – записал подъячий и промолвил про себя: «Ведь вот, кажись, русские помянул слова немец-то: Аграфену, да Марину, а попробуй-ка их на язык, так такой поднесет дряни, что о-го-го!»

– *Semine paeniculi*, – продолжал Коллинс.

– Семь недель каникулы, – записал подьячий, проучившийся несколько лет в законоспасском училище, и прищелкнул языком, вспомнив, что у них каникулы продолжались только один месяц.

После составления пластыря из веществ, поименованных Коллинсом и перевернутых с первого до последнего при записке в книгу подьячим, лейб-медик положил его в цветную коробочку и, запечатав своей печатью, передал боярину; так же было поступлено и с микстурой, приготовленной Понтаном, с тою только разницею, что она не пробована была Коллинсом перед запечатыванием пузырька его печатью.

– Ну вот мы теперь и окончили свое дело, – сказал Понтан Пфейферу, когда боярин уехал, а вслед за ним отправился и Коллинс.

– Легко сказать кончили, – проворчал подьячий, складывая книгу, – да я исписал целый лист этими басурманскими кличками. Теперь, почитай, насилу рукой владею. Нет, по-нашему, как пропустишь в горло чарку вина с растертым порошком да закусишь чесноком с старым хреном али редькой, так куда твоя болезнь. И без ваших зелий как рукой снимет!

Окончив это рассуждение, подьячий снял с себя однорядок и, подложив под голову, улегся спать на голом полу. Громкий храп, раздавшийся через несколько минут после этого, дал знать, что он уже помирился со своим незавидным положением.

Каждый день утром и вечером производится подобным образом отпуск лекарств из аптеки, с тою только разницею, что по рассмотрении в аптекарском приказе рецептурской книги подьячий был тотчас исключен и заменен другим, столько же сведущим в латинском языке, хоть обладавшим более тонким слухом. Все остальное время дежурные аптекари были совершенно свободны и могли заниматься чем им было угодно, с непременным только условием не выходить из аптеки.

Пфейферу случалось не один раз и до настоящего случая дежурить по целым неделям в аптеке, но никогда время не текло для него так скучно, как теперь. Он раскрыл книгу, взятую с собой, и между листками нашел полузасохший василек. Пфейфер вспомнил, что в последний раз, когда он, накануне дежурства в аптеке, раскладывал сухие цветы вместе с Розою по листам, головка ее была убрана васильками. Следовательно, этот цветок был с головы ее... Быстро схватил его Пфейфер и, прижав к своим губам, впился в цветок страстным поцелуем. В эту минуту он разом понял, что любил эту прелестную девушку, сам того не замечая, и что только в ее присутствии мог быть спокоен и счастлив.

Сделав это открытие, Иоганн как будто переродился: он соскочил со своего места и бросился к двери, решась, во что бы то ни стало, отправиться в дом Шарлоты, и только убеждения Понтана заставили его образумиться. Но зато Иоганн, оставаясь в аптеке, в воображении своем присутствовал с Розой, вспоминал ее слова, ее чудные взгляды, улыбку... И, приходя в себя, еще больше сердился на свое заключение.

– Кажется, царица Марья Ильинишна совсем выздоровела, – сказал Понтан в конце недели Пфейферу.

– А что? – спросил рассеянно Иоганн.

– Да так, досадно; только одну недельку продневали в аптеке, не то что прошлого года, помнишь, как была больна царевна Анна Михайловна, целый месяц шла очередь.

– Чего же тут досадного? Напротив, нам нужно радоваться, – сказал Пфейфер. – Если царица выздоровела, так нас отправят домой.

– Домой-то отправят, – возразил Понтан, – да окладу не прибавят; а ведь ты знаешь, что, пока мы считаемся на дежурстве в аптеке во время болезни наверху, нам полагается двойное жалованье.

«Бог с ним, с жалованьем, – подумал Иоганн, – меня бы скорее домой отпустили».

Действительно, вечером от архиатера аптекарского приказа дано было знать, чтобы дежурные отправились по домам, и Пфейфер, едва помня себя, радостно побежал в слободу. Но, уже подходя к Кукую, он с досадой заметил, что по позднему времени во всех домах огни были потушены, и, следовательно, ему нельзя было надеяться увидеть свою соседку. В самом деле, в домике Шарлоты царствовала также совершенная темнота.

– Видно, до завтрашнего дня не видать мне Розы, – проговорил печально Иоганн, взбираясь по крыльцу своего дома.

Но когда Пфейфер, войдя в комнату, бросился на софу, новая мысль заставила его вздрогнуть и оглядеться крутом себя...

– Да, – прошептал Иоганн, – может быть, она меня не любит; может быть, это одно ребячество и мне только показалось, что она расположена ко мне. Но эта улыбка, этот сладкий взгляд...

И Пфейфер погасил лампаду и снова зажег ее, повесив венок на окошке. Не рассуждая, что Роза, вероятно, давно уже спала, Иоганн схватил свой берет и побежал на улицу.

Подойдя к дому Шарлоты, Пфейфер услышал, что на крыльце скрипнула дверь. Быстрее ветру бросился к ней молодой человек, и через минуту в руках его были уже теплые, трепещущие руки Розы...

– Боже мой! Где ты был так долго? – прошептала она трепетным голосом, пожимая руку Иоганна. – Я так боялась за тебя!

– В аптеке, – отвечал Пфейфер, – целую неделю и вот теперь только пришел домой, повесил венок...

– Да, – прервала Роза, – я сейчас его увидела.

– Но, – прошептал Иоганн замирающим голосом, – разве ты меня дожидалась, милая Роза? Неужели ты не спала до этого времени?

– Ах, – отвечала девушка, склоняясь на плечо Пфейфера, – я все ночи не смыкала глаз, дожидаясь тебя...

– Ангел мой! – страстно произнес Пфейфер, обняв талию Розы. И уста его прильнули в первый раз к свежим девственным губкам красавицы... Держа девушку в своих объятиях, Пфейфер забыл весь мир в этом положении.

– Ah mein Gott! – раздался позади их голос Шарлоты, и старушка, вышедшая на крыльцо, всплеснув руками, повалилась на пол. Пфейфер бросился помочь ей и, подняв лишившуюся чувств Шарлоту, перенес ее в комнату.

Когда старушка пришла в себя, начались объяснения; Пфейфер, бросаясь к ногам Шарлоты, просил руки ее дочери; препятствий не могло быть, и почтенная женщина тут же назвала его своим любезным сыном. Но когда пламенный любовник начал настаивать на скорейшем соединении, тогда Шарлота решительно объявила, что покойный муж завещал не выдавать Розу замуж раньше семнадцати лет и что поэтому свадьба их должна быть не иначе как через год. Молодой человек, восхищенный дозволением называть Розу своею, не настаивал более и дал слово с терпением ожидать, когда пройдет это время. Начало светать уже, как Пфейфер встал, чтобы проститься с матерью и невестою.

– Куда же, милый? – спросила с удивлением девушка. – Разве ты с нами не останешься навсегда? Ведь папа не оставлял никогда моего муттерхен?

Пфейфер покраснел и не знал, что отвечать на эту выходку, произнесенную прелестною девушкою с такой наивностью, а Шарлота, побранив ее, отвечала, что когда она выйдет замуж, то с того только времени не будет уже разлучаться с своим мужем.

– Ах, как нам весело тогда будет, – вскричала Роза, прыгая по комнате, – скорей бы настало это счастливое время.

## Часть вторая

### Глава первая

День удаления Никона с патриаршего престола был торжеством для первостепенных бояр и родственников царских, не могших равнодушно переносить его единовластия, ибо любовь и доверие к нему царя Алексея Михайловича были беспредельны. Ни одно дело государственное не решалось без благословения первосвященника: первый советник царя в беседе духовной, Никон был таковым же и в делах мирских. Поэтому неудивительно, что все бояре, приближенные к престолу, искали только случая какими бы то ни было средствами охладить к нему любовь царскую, чему, наконец, помог, как нельзя больше, характер самого Никона – и едва только возникло неудовольствие между царем и патриархом, как они употребили все усилия, чтобы раздуть первую искру раздора, ибо всякий из них считал себя более или менее оскорбленным первосвященником. Действительно, патриарх, пользуясь неограниченной доверенностью царской, поступал иногда совершенно самовластно и слишком часто давал чувствовать свое могущество. Строгий исполнитель всего, что предписывала чистая нравственность, он требовал того же от всех, а прозорливый ум его легко отличал низкие качества многих приближенных царя, старавшихся возвыситься кознями или несправедливыми поступками. Духовенство, недовольное Никоном за то, что он строго взыскивал за всякое нарушение чина церковного, перетолковывало самые благие действия патриарха в дурную сторону и тайно распускало в народе, что в церковных книгах, переведенных при Никоне, была ересь и отступления от православного учения церкви; таковыми были попы Аввакум, Лазарь и Никита и дьяконы Григорий и Федор Нероновы, пострадавшие от Никона за умышленно неправильное издание, при патриархе Иосифе, Кормчей книги. Скрывшись из Москвы, они посеяли расколы, совлекая легковверных с истинного пути своими нелепыми толкованиями Св. Писания. Это обстоятельство бояре также успели в глазах царя поставить в вину патриарху. Наконец, когда цель была достигнута и Никон, отстранясь от участия в делах мирских и духовных и бросив самовольно паству, переехал из Москвы на житье в Воскресенский монастырь, все враги патриарха соединились к тому, чтобы, действуя вместе, лишить его всякой власти и даже самого сана. К числу первых врагов первосвященника принадлежали: боярин и дворецкий князь Юрий Сергеевич Долгорукий, ближний боярин князь Никита Иванович Одоевский и боярин Семен Лукиянович Стрешнев.

На другой день отъезда голландского посла, часу в тринадцатом дня, когда все московские жители наслаждались после обеда, по обыкновению, глубоким сном, боярин Семен Лукиянович ходил большими шагами по обширной светлице своего дома; кровать с пышным пуховиком, закрытая шелковым одеялом, и лежанка из фигурных изразцов, тянувшаяся вдоль печки, доказывали, что это была его опочивальня. Стены светлицы обиты были выкрашенной холстиной, что составляло тогда немаловажное украшение дома, а небольшой поставец, наполненный массивной серебряной посудой, и лавки, покрытые дорогими персидскими коврами, свидетельствовали о знатности хозяина.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.